Жизнь Пи

Автор:
Янн Мартел

Жизнь Пи

Янн Мартел

Young Adult. Легендарные книги

«Жизнь Пи» произвела настоящий культурный взрыв в мировой интеллектуальной среде. Фантастическое путешествие юноши и бенгальского тигра, описанное в романе, перекликается с повестью «Старик и море», с магическим реализмом Маркеса и с абсурдностью Беккета. Книга стала не только бестселлером, но и символом литературы нового века, флагом новой культуры.

Янн Мартел

Жизнь Пи

Моим родителям и брату

Предисловие автора

Книга эта родилась от голода. Сейчас объясню. Весной 1996 года в Канаде вышла вторая моя книга – роман. Расходился он из рук вон. Критики или недоумевали, или хвалили так, что лучше б не хвалили вовсе. Так он и прошел мимо читателей. Я лез из кожи, корчил из себя не то клоуна, не то воздушного

гимнаста, – все без толку: публика меня просто не замечала. Словом, полный провал. Другие книги стояли на магазинных полках стройными рядами, как бейсболисты или футболисты перед матчем, а моя больше походила на доходягу-хлюпика, которого никто не хотел брать к себе в команду. Так она и канула в небытие – быстро и без шума.

Не очень-то я и огорчился. Я уже взялся за другую историю – про Португалию 1939 года. Чего мне недоставало, так это покоя. Зато хоть какие-то деньги появились.

И вот я полетел в Бомбей. И это еще не самая глупая затея, если учесть три вещи: поездка в Индию, хоть и короткая, успокоит кого угодно; даже с худым кошельком жить там можно сколько заблагорассудится, да и потом, роман про Португалию 1939 года не обязан иметь прямое отношение к Португалии 1939 года.

В Индии я бывал и раньше – прожил месяцев пять в северных краях. Тогда, в первый раз, я прибыл в Индостан совершенно неподготовленный. Только выучил одно заветное слово. Когда я рассказал приятелю – а тот знал Индию как свои пять пальцев, – что собираюсь в путешествие, он бросил как бы мимоходом: «У них там, в Индии, говорят на таком английском – обхохочешься. Особенно в ходу словечки типа «втирать»». Я вспомнил это, когда самолет начал снижаться над Дели, так что вся моя подготовка к красочной, неугомонной, бесшабашно-суетной Индии свелась к одному-единственному слову – «втирать». Я вворачивал его по всякому поводу – и, честно сказать, срабатывало. Кассиру на вокзале так прямо и выдал: «Не знал, что цены у вас кусаются. Надеюсь, вы мне тут не втираете?» Он улыбнулся и прощебетал: «Да что вы, сэр! У нас никому не втирают. Все честь по чести».

Теперь, оказавшись в Индии во второй раз, я уже знал, чего здесь можно ждать и чего хотелось бы мне самому: а мне хотелось забраться куда-нибудь в горную деревушку и писать роман. Я спал и видел, как сижу за столом на просторной веранде, передо мной – кипа исписанной бумаги, а рядом с ней – чашка дымящегося чая. Под ногами стелются зеленые холмы, подернутые туманной дымкой, а в ушах звенит от пронзительных криков обезьян. Погода будет что надо – утром и вечером можно обойтись легким свитером, а днем не пропаду и в какой-нибудь безрукавке. Так-то вот, с пером в руке, и буду искать великую правду жизни, превращая подлинную историю Португалии в фантазию. Ведь разве не в том и состоит вся соль художественной литературы – в

избирательном преображении действительности? Чтобы, малость исказив ее, добраться до самой сути. В таком случае что, собственно, я забыл в этой самой Португалии?

Хозяйка дома, из местных, будет рассказывать про войну с англичанами и про то, как их выдворили восвояси. Вместе с ней мы будем обсуждать, что мне приготовить завтра на завтрак, на обед и на ужин. А вечером, покончив с дневной писаниной, я буду лазить по зыбящимся холмам, облепленным чайными плантациями.

Но, увы, роман вдруг чихнул, крякнул и преставился. Случилось это в Матхеране, горной деревеньке близ Бомбея, где с обезьянами было все в порядке, а вот чайных плантаций не было, хоть ты тресни. Похожая беда подстерегает начинающих писателей сплошь и рядом. И тема – блеск, и фразы – красота. Герои до того живые – хоть свидетельства о рождении выдавай. Фабула, им уготовленная, – лучше не придумаешь: и простая, и захватывающая. На подготовительной работе поставлена точка, скопилась куча фактического материала, для вящей достоверности, – про историю и людей того времени, про климат и даже про национальную кухню. Диалоги сверкают что клинки – разят прямо в сердце. Описания так и брызжут красками, контрастами и живыми подробностями. Что ни говори – гениально! Но не тут-то было. Вопреки всем радужным надеждам вдруг понимаешь – тихий неугомонный голос нашептывал тебе убийственную правду: все ни к черту. Не хватает самой малости – искорки, способной зажечь твою историю настоящей жизнью, и точная историческая фактура или безупречные кулинарные рецепты – все псу под хвост. Повесть твоя бесчувственна, мертва, и тут уж ничего не попишешь. Такое открытие, скажу вам, совсем не радует. От такого и впрямь засосет под ложечкой – как от голода.

Наброски безнадежного романа я отнес на почту в Матхеране. И отправил по выдуманному адресу в Сибирь, да и обратный адрес, в Боливии, я тоже взял с потолка. Когда пакет проштамповали и бросили в сортировочный мешок, я сел и тихо загрустил: «И что теперь, Толстой? Как насчет еще чего-нибудь эдакого, гениального?»

Хорошо еще, кошелек мой вконец не истощал, а на месте все так же не сиделось. Я встал и двинул с почты прямиком на юг Индии.

Как бы мне хотелось отвечать: «Я доктор» – всем, кто спрашивал, чем я занимаюсь, ведь доктора нынче в почете – вот кто творит настоящие чудеса. Но

тут и к гадалке не ходи: случись нашему автобусу перевернуться на крутом вираже, все сразу же кинутся ко мне, и поди докажи – среди воплей да стонов, – что хоть ты и доктор, но юрист; а после, взбреди им в голову судиться из-за увечий с правительством и нанять меня в консультанты, придется сознаться, что на самом деле я бакалавр, притом философии; затем, в ответ на крики, и за что им это наказание, придется покаяться, что я с трудом одолел Кьеркегора, и все такое прочее. Словом, как оно ни прискорбно, как ни унизительно, решил я все-таки не грешить против истины.

Всю дорогу я только и слышал: «Писатель? Да ну! Хотите историю?» Вот только истории эти зачастую были нудные, муторные, да еще с бородой.

Так добрался я до городка Пондишери, что в составе небольшой самоуправляемой союзной территории к югу от Мадраса, в Тамилнаде на побережье. По числу жителей и размерам это совсем крохотный уголок Индии (в сравнении с ним остров Принца Эдуарда в Канаде – сущая громадина), хотя история у него особая. Пондишери был некогда столицей самой маленькой колониальной империи – Французской Индии. Французы, понятно, были бы не прочь потягаться с англичанами, очень даже не прочь; но в одном-единственном радже, где им только и удалось закрепиться, гаваней было всего ничего, да и те крошечные. Однако французы продержались там целых триста лет. И убрались из Пондишери только в 1954 году, побросав нарядные белые домики, широкие улицы, скрещивающиеся под прямым углом, с названиями вроде рю-де-ла-Марин и рю-Сен-Луи, да полицейские фуражки – кепи.

Сидел я как-то раз в «Индийской кофейне» на улице Неру. Кофейня эта размещается в одном большом зале с зелеными стенами и высоким потолком. Над головой кружат вентиляторы, разгоняя теплый влажный воздух. Зал заставлен одинаковыми квадратными столиками, по четыре стула у каждого. Выбирай любой, даже если за столиком уже кто-то сидит. Кофе подают превосходный, да еще с гренками, поджаренными в молоке с яйцом. И беседа там завязывается сама собой – легко и просто. В тот раз собеседником моим был шустрый ясноглазый старикашка с пышной, убеленной сединами шевелюрой. Я согласился с ним, что в Канаде и правда холодно, что там действительно есть места, где говорят только на французском, и уверил, что в Индии мне на самом деле нравится, ну и так далее и тому подобное – в общем, непринужденный разговор, какой дружелюбно-любопытные индусы обычно заводят с заезжими иностранцами. Про мою работу старичок слушал, широко раскрыв глаза, и одобрительно кивал. Но в конце концов пора было и честь знать. И я поднял

руку, чтобы привлечь официанта и взять у него счет.

Тогда старичок возьми и скажи:

– Могу рассказать одну историю, да такую, что вы непременно уверуете в Бога.

Рука моя так и повисла в воздухе. Я насторожился. Неужто свидетель Иеговы стучится ко мне в дверь?

– Не иначе как истории вашей две тысячи лет и случилась она где-нибудь на задворках Римской империи? – спрашиваю.

– А вот и нет.

Может, старикашка – из этих, мусульманских пророков?

– Уж не в седьмом ли веке было дело, не в Аравии ли часом?

– Да нет же. Все началось здесь, в Пондишери, несколько лет назад, а закончилось, должен заметить на радость вам, в той самой стране, откуда вы приехали.

– И что, из-за этой вашей истории я должен поверить в Бога?

– Ну да.

– Вот так задачка!

– Вам вполне по зубам.

Тут подошел официант. Я на мгновение задумался. И заказал еще пару кофе. Мы познакомились. Старичка звали Франсис Адирубасами.

– Так что там у вас за история? – спрашиваю.

– Только слушайте очень внимательно, – попросил он.

– Идет. – Я достал ручку и блокнот.

– Скажите, вы уже бывали в Ботаническом саду? – спросил он.

– Вчера ходил.

– Видели детскую железную дорогу?

– Ну да.

– По воскресеньям по ней до сих пор гоняет поезд детишкам на забаву. А было время, когда он гонял по два раза в час, и так каждый день. Помните, как называются станции?

– Одна – Розвиль. Та, что возле розария.

– Точно. А другая?

– Не помню.

– Там уже нет вывески. Когда-то она называлась Зоотаун. Поезд делал две остановки – в Розвиле и Зоотауне. Когда-то на месте Пондишерийского ботанического сада был зоопарк.

Старичок продолжал свой рассказ. А я все помечал да записывал.

– Вам надо и с ним поговорить, – сказал он про главного своего героя. – Я знал его очень-очень хорошо. Теперь он уже взрослый. Порасспрошайте его – может, и он что вспомнит.

Позднее, уже в Торонто, я разыскал его, главного героя, по телефонному справочнику, в перечне из девяти колонок, где значились сплошные Пателі. А когда набирал номер, сердце так и колотилось в груди. Голос в трубке был с явным канадским акцентом, сдобренным неповторимой индийской размеренностью – легкой, как тонкое, едва уловимое благоухание. «Как же давно это было», – проговорил незнакомец. Но встретиться со мной все-таки

согласился. С тех пор встречались мы не раз. Он показывал дневник, где описал все, что с ним приключилось. Показывал пожелтевшие газетные вырезки, снискавшие ему мимолетную, скромную славу. И рассказывал свою историю. А я за ним записывал. Где-то через год, после долгих проволочек, я наконец получил магнитофонную пленку и отчет из Министерства транспорта Японии. И, только прослушав пленку, признал – прав был старина Адирубасами, когда обещал, что после этой истории я непременно уверую в Бога.

Мне подумалось: не проще ли будет рассказать историю господина Пателя от первого лица – его собственного? А все неточности и огрехи можно смело списать на меня.

Хотелось бы мне и кое-кого поблагодарить. Конечно же, я всем обязан господину Пателю – и моя благодарность ему бескрайня, как Тихий океан. Надеюсь, рассказ мой его не разочарует. Господина Адирубасами я благодарю за то, что он пробудил во мне интерес к этой истории. Ну а закончить ее мне помогли три чиновника, прекрасные знатоки своего дела, за что я им также благодарен: Казухико Ода, недавно оставивший службу в японском посольстве в Оттаве; Хироси Ватанабе из судоходной компании «Ойка»; и особенно Томохиро Окамото из Министерства транспорта Японии, ныне пребывающий на заслуженном отдыхе. А что до животворной искорки, ее зажег во мне Моасир Скляр. В заключение я хотел бы выразить самую искреннюю признательность выдающемуся учреждению – Канадскому совету по делам искусств: без его денежной помощи мне бы ни в жизнь не удалось довести до ума мою историю, не имеющую, впрочем, ни малейшего отношения к Португалии 1939 года. Если мы как граждане не будем помогать нашим художникам, то бросим свое воображение на алтарь суровой действительности, и нам ничего не останется, как только утратить веру и тешить себя пустыми мечтами да призрачными надеждами.

Часть I

ТОРОНТО И ПОНДИШЕРИ

1

Я маялся – на душе у меня скребли кошки.

Но университетские занятия и постоянная серьезная религиозная практика мало-помалу вернули меня к жизни. Я остался верен своим религиозным пристрастиям, хотя кое-кому это казалось странным. Отучившись последний год в средней школе, поступил в Торонтский университет и выучился на бакалавра по двум специальностям сразу. Первой было богословие, а второй – зоология. Курсовая моя по теологии, на четвертом году обучения, затрагивала некоторые стороны космогонической теории Исаака Лурии, великого каббалиста XVI века из Сафеда. А курсовая по зоологии была посвящена функциональному анализу щитовидной железы у трехпалого ленивца. Ну а ленивца я выбрал потому, что характер его – спокойный, мирный, самоуглубленный – был бальзамом на мою измотанную душу.

Ленивцы бывают двухпалые и трехпалые, притом что судить об этом можно лишь по передним лапам – на задних у всех ленивцев по три когтистых пальца. Однажды летом мне здорово повезло: я изучал трехпалых ленивцев in situ – в экваториальных лесах Бразилии. Зверьки эти на редкость интересные. У них только одна необоримая привычка – лень. Они спят или отдыхают в среднем по двадцать часов на дню. Наша группа исследовала особенности сна пяти диких трехпалых ленивцев. Ранним вечером, когда те засыпали, мы ставили им на головы ярко-красные пластмассовые миски с водой и на другой день, поздним утром, видели, что миски стоят все там же, полные до краев, и вдобавок кишат всякими насекомыми. Ленивец раскачивается на заходе солнца – впрочем, слово «раскачивается» надо понимать с большой-большой оговоркой. Он сползает по ветке – как обычно, то есть вниз головой, – со скоростью около 400 метров в час. А оказавшись на земле, переползает к ближайшему дереву со скоростью 250 метров в час, и то если его что-нибудь там привлекает, – это в 440 раз медленнее гепарда, которого вечно что-нибудь да привлекает. Ну а нет, так ленивец проползает не больше четырех-пяти метров в час.

Представления об окружающем мире у трехпалого ленивца весьма ограниченные. По шкале от двух до десяти, где «двойка» означает предел тупости, а «десятка» – обостренное чутье, Биби[1 - Биби, Уильям (1872–1962) – американский исследователь-натуралист.] оценил в 1926 году такие чувства ленивца, как вкус, осязание, зрение и слух, на «двойку», а обоняние – на

«тройку». Случись вам натолкнуться на спящего ленивца в природе, ткните его легонько разок-другой, и он очнется – будет спросонья озираться по сторонам, а на вас даже не глянет. Да и вообще непонятно, зачем ленивцу к чему-то приглядываться: ведь ему все кажется расплывчатым – нечетким, как в кино, когда уходит резкость. Что же до слуха, ленивец не такой уж глухой – просто звуки его мало волнуют. Тот же Биби сообщал, что если пальнуть из ружья над ухом спящего или кормящегося ленивца, тот и глазом не моргнет. Впрочем, и обоняние ленивца, с которым у него вроде бы все в порядке, не стоит переоценивать. Хоть и говорят, будто ленивцы по запаху угадывают гнилые ветки и обходят их стороной, но Буллок сообщал в 1968 году, что ленивцы часто падают на землю, сваливаясь с трухлявых сучьев.

И как только они умудряются выжить, спросите вы.

Как раз благодаря своей медлительности. Сонливость и нерасторопность хранят их от всяких напастей – от острого глаза и нюха ягуара, оцелота, орла и анаконды. В шерсти ленивца заводятся водоросли – в засуху они буреют, а в сезон дождей зеленеют, так что, слившись с окружающей средой, среди мхов да листвы, зверек делается невидимым, вернее, становится похожим не то на муравейник, не то на гнездо белки, а то и вовсе на кусок дерева.

Трехпалый ленивец живет тихо и мирно и знай себе пожевывает листья – словом, в полной гармонии с окружающей средой. «На губах у него неизменная добродушная улыбка», – подметил в 1966 году Терлер. Я тоже видел, как улыбается ленивец, – своими собственными глазами. Хотя мне совсем не свойственно наделять животных человеческими качествами и манерами, но в течение того месяца, в Бразилии, я часто наблюдал, как ленивцы отдыхают, и всякий раз ловил себя на мысли, что они – йоги, медитирующие в перевернутых асанах, или отшельники, погруженные в молитву, а может, мудрецы, живущие своим пылким воображением, недоступным моему сугубо научному пониманию.

Порой мои наблюдения в двух разных областях науки наслаивались друг на друга. Некоторые из моих однокашников, ударившиеся в богословие, – по сути, агностики с полной мешаниной в голове, не различающие белое и черное, рабы тупого здравомыслия, затмевающего блеск живого ума, – уж больно напоминали трехпалых ленивцев, а трехпалый ленивец, как истинное чудо природы, напоминал мне о Боге.

С моими приятелями-учеными мне всегда было легко и просто. Ученые – народ дружелюбный, не признающий Бога, работящий, охочий до пива, помышляющий лишь о сексе, шахматах да бейсболе – в свободное от науки время, конечно.

Учился я на «отлично», если пристало так говорить про себя самого. Четыре года кряду был лучшим студентом колледжа Сент-Майкл. За что и удостоился всевозможных студенческих наград зоологического факультета. А если не получил ни одной на богословском, то исключительно потому, что студентов там вообще не награждали (награды за успехи на религиозном поприще, известное дело, вручаются отнюдь не из рук смертных). Я наверняка получил бы и генерал-губернаторскую академическую медаль – высшую студенческую награду Торонтского университета, если б не один паренек, краснощекий обжора с бычьей шеей и редкостный весельчак.

Обида до сих пор гложет меня, хотя уже и не так сильно. Даже если жизнь тебя изрядно побила, новая боль, хоть и пустячная, кажется нестерпимой. Жизнь моя похожа на образ memento mori из европейской живописи: мне всегда скалится череп, напоминая о тщете человеческой гордыни. Я смеюсь над черепом. Гляжу на него и говорю: «Ошибся адресом! Ты не веришь в жизнь, а я – в смерть. Катись-ка подальше!» А череп знай себе посмеивается да подкатывает все ближе, – впрочем, оно и неудивительно. Смерть всегда ходит за жизнью по пятам, и причина тому не биологическая необходимость, а самая обыкновенная зависть. Жизнь до того прекрасна, что смерть влюблена в нее, да вот только любовь у этой ревнивицы хищническая, ненасытная. Впрочем, жизнь легко переступает через забытье и расстается только с пустяками, а тьма – не что иное, как преходящая тень от мимолетной тучи. Того краснощекого паренька наградили и стипендией Родса. Я люблю его и думаю, он так же преуспел и в Оксфорде. Если богиня Лакшми, покровительница богатства, когда-нибудь снизойдет и ко мне, Оксфорд будет пятым по счету среди городов, где мне хотелось бы побывать перед смертью, после Мекки, Варанаси, Иерусалима и Парижа.

Ничего не скажу про свою трудовую жизнь, кроме того, что галстук – удавка, хоть и перевернутая, и мигом задушит любого, кто потеряет бдительность.

Я люблю Канаду. Я скучаю по знойной Индии, по индийской кухне, домашним ящерицам на стенах, музыкальным фильмам, коровам, бродящим прямо по улицам, по карканью ворон, даже по разговорам про крикет… но я люблю Канаду. Эту великую страну, чересчур холодную даже для сдержанного

рассудка, где живут добродушные, благоразумные люди с никуда не годными прическами. Как бы то ни было, дома, в Пондишери, меня никто не ждет.

Ричард Паркер одно время был при мне. И забыть его я не в силах. Скучаю ли я по нему? Признаться – да. Скучаю. Он все еще мне снится. Правда, в кошмарах, но кошмары эти наполнены любовью. Таким вот странным образом устроена человеческая душа. И все же я не пойму: как он мог меня бросить? Вот так бесцеремонно, даже не попрощавшись, даже ни разу не обернувшись. Боль ножом вонзается мне в сердце.

Доктора и медсестры в мексиканской больнице относились ко мне с необычайной добротой. Как и пациенты. И раковые больные, и увечные – все они, заслышав мою историю, ковыляли ко мне на костылях, катили в колясках вместе со своими родственниками, хотя никто из них ни слова не понимал по-английски, а я – по-испански. Они улыбались мне, жали руки, трепали по голове, оставляли на кровати подарки – еду и одежду. А я в ответ то смеялся, то всхлипывал, совершенно непроизвольно.

Через пару дней я уже встал на ноги и даже умудрился одолеть два-три шага, несмотря на тошноту, головокружение и сильную слабость. По анализам крови у меня обнаружились малокровие, повышенное содержание натрия и пониженное – калия. Жидкость из организма не выводилась, и ноги распухли до ужаса. Прямо как у слона. Моча была мутная, темно-желтая, а иногда коричневая. Но через неделю или около того я уже мог ходить – почти нормально – и надевать ботинки – правда, без шнурков. Кожа моя зарастала, хотя на плечах и на спине шрамы так и остались.

Когда я в первый раз открыл кран, то при виде хлынувшей оттуда журчащим потоком воды так и остолбенел, голова пошла кругом, ноги сделались ватные, и я как подкошенный рухнул на руки медсестры.

А когда в первый раз оказался в индийском ресторане в Канаде, то стал есть руками. Официант взглянул на меня с укоризной и спросил: «Никак прямо с корабля на бал?» Я побледнел. Пальцы мои, которые еще секунду назад воспринимали прелесть пищи раньше нёба, в тот же миг будто замарались. И одеревенели, словно злоумышленники, застигнутые на месте преступления. Я не посмел их облизать, а виновато вытер салфеткой. Тот малый и не думал, как глубоко задел меня. Его слова вонзились мне в уши острыми иглами. Я взял нож и вилку. Хотя раньше почти никогда ими не пользовался. Руки у меня дрожали. И

самбар потерял всякий вкус.

2

Живет он в Скарборо. Невысокий, худосочный парень, ростом не больше пяти футов пяти дюймов. Темноволосый, темноглазый. На висках седина. Возраст – не старше сорока. Кожа мягкого кофейного цвета. На дворе осень, но не холодно, а он облачается в широкую парку с капюшоном на меху – мы собираемся в ресторан. Лицо выразительное. Говорит быстро, размахивает руками. Но ни одного пустого слова. Все по делу.

3

Меня назвали в честь бассейна. Это тем более странно, что родители мои совсем не умели плавать. Одним из давних деловых партнеров отца был Франсис Адирубасами. Был он и добрым другом нашей семьи. Я звал его Мамаджи – от тамильского мама, что значит «дядя», а суффикс «джи» индусы прибавляют в знак уважения или благорасположения. В молодости, задолго до моего рождения, Мамаджи раз выиграл соревнования по плаванию и стал чемпионом Южной Индии. И в каком-то смысле остался им на всю жизнь. Брат мой Рави как-то рассказывал, что Мамаджи, едва появившись на свет, ни в какую не хотел выдохнуть из легких воду, и, чтобы спасти ему жизнь, врачу пришлось взять его за ноги и разок-другой крутануть над головой.

– И помогло! – прибавил Рави и как очумелый замахал рукой у себя над головой. – Он отрыгнул воду и задышал воздухом – правда, от такой встряски его телеса сместились кверху. Поэтому у него такая здоровенная грудь, а ноги как спички.

И я поверил. (Рави еще тот зубоскал. Когда он в первый раз назвал Мамаджи «мистером Рыбой», да еще в моем присутствии, я засунул ему под одеяло банановую кожуру.) Даже в свои шестьдесят, когда Мамаджи уже малость ссутулился, а телеса его после долгих лет борьбы с родовыми осложнениями

заметно пообвисли, даже тогда он каждое утро трижды переплывал из конца в конец бассейн в ашраме Ауробиндо.

Он пробовал научить плавать моих родителей, но дальше тренировок на песке дело не пошло; единственное, что ему удалось, так это поставить их на колени и заставить размахивать руками, что со стороны выглядело очень смешно: когда отрабатывали брасс, казалось, что они продираются сквозь джунгли, раздвигая высокую траву, а когда осваивали вольный стиль – что мчатся с горы и колотят по воздуху руками, силясь не упасть. Да и Рави от них недалеко ушел.

Мамаджи пришлось ждать, пока не настал мой черед, – тогда-то он наконец и нашел себе прилежного ученика. В тот день, когда мне стукнуло семь лет – самое время, по словам Мамаджи, учиться плавать, – он, к матушкиному огорчению, привел меня на побережье, простер руки в сторону моря и возгласил:

– Вот тебе мой подарок.

– А потом он тебя чуть не утопил, – сокрушалась матушка.

Я оправдал надежды моего водяного гуру. Под его бдительным оком я лежал на берегу, махал ногами, загребал руками песок и при каждом гребке крутил головой то влево, то вправо, отрабатывая вдох-выдох. Со стороны я, наверное, походил на мальца, лениво бьющегося в припадке затянувшегося каприза. В воде, покуда Мамаджи удерживал меня на поверхности, я старался плыть что было мочи. Это оказалось труднее, чем на земле. Но терпения Мамаджи было не занимать, и он всячески меня подбадривал.

Когда он почувствовал, что как пловец я уже вполне созрел, мы покинули морской берег с его весело рокочущим, в пенных брызгах прибоем и отправились постигать четкую, безбурную симметрию ашрамского бассейна.

Я ходил туда все детство, три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, и ритуал этот повторялся начиная с раннего утра строго по часам, точным, как безупречно отточенный вольный стиль. Хорошо помню, как рядом со мной раздевался догола этот гордый старик, как после каждого снятого предмета одежды мало-помалу обнажались его телеса, как он смущенно отворачивался и второпях влезал в роскошные заграничные спортивные плавки. И вдруг весь расправлялся – он был готов. И в этом ощущалось и геройство, и

простота. Наставления по плаванию, перенесенные вслед за тем на практику, отнимали у меня последние силы – и при этом доставляли огромную радость, особенно когда я поплыл с легкостью и быстротой, все легче и быстрее, и когда вода уже казалась не расплавленным свинцом, а жидким светом.

К морю я вернулся по собственному желанию, к постыдной своей радости; меня так и тянуло к громадным волнам, гулко накатывавшим на берег, но ложившимся к моим ногам укрощенной зыбью, – они, как мягкие лассо, арканили меня, индийского мальчугана, свою смиренную жертву.

Когда мне было лет тринадцать, я подарил Мамаджи на день рождения два заплыва баттерфляем – вышло очень даже неплохо. Правда, к финишу я так выдохся, что едва смог помахать ему рукой.

В свободное от плавания время мы говорили опять же только о плавании. И такие разговоры были особенно по душе отцу. Чем сильнее ему самому не хотелось учиться плавать, тем больше нравилось слушать, как плавают другие. Истории про плавание были его излюбленной темой в выходные дни – так он отвлекался от работы, где только и было разговоров что про зоопарк. Да и вода без гиппопотама казалась ему гораздо более укротимой, чем с гиппопотамом.

С благословения и при поддержке колониальной администрации Мамаджи пару лет отучился в Париже. То были лучшие годы в его жизни. Было это в начале тридцатых, когда французы силились офранцузить Пондишери, так же как англичане – англизировать всю остальную Индию. Уже и не помню, какие там науки постигал Мамаджи. Кажется, учился премудростям торговли. Но был он великим рассказчиком – только не подумайте, будто грезил он какими-то там науками, Эйфелевой башней с Лувром или Елисейскими Полями с тамошними кафе. Ни о чем, кроме как о бассейнах и соревнованиях по плаванию, он и не думал. К примеру, рассказывал он, старейший в городе бассейн «Писин-Делиньи»[2 - Piscine (фр.) – бассейн.], обустроенный еще в 1796 году, находился под открытым небом в барже, стоявшей на приколе у набережной Ке-д’Орсе, – там-то и состязались пловцы во время Олимпиады 1900 года. Впрочем, Международная любительская федерация плавания ни один заплыв не засчитала, потому как бассейн признали на шесть метров длиннее положенного. Воду в него закачивали прямо из Сены, не очищая и не подогревая.

– Она была холодная и грязная, – вспоминал Мамаджи. – В воде, протекавшей через весь Париж, собирались все городские нечистоты. А в бассейне из-за

купальщиков она становилась еще грязнее.

Потом он вдруг таинственно, шепотом приводил жуткие подробности, будто в подтверждение своим словам, что у французов-де с личной гигиеной совсем беда. «В «Делиньи» было противно. Но «Бен-Руаяль», другая клоака на Сене, и того хлеще. В «Делиньи», по крайней мере, дохлую рыбу вылавливали». Но, как ни крути, олимпийский бассейн есть олимпийский бассейн – на нем лежит печать бессмертной славы. Хотя худшей помойки не сыскать, весело и лукаво усмехнувшись, заканчивал Мамаджи свой рассказ про «Делиньи».

Малость получше было в бассейне «Шато-Ландон», «Руве» или в том, что на Привокзальном бульваре. Они закрытые, стоят на твердой земле – ходи не хочу, и круглый год. Воду туда закачивали с соседних фабрик – в виде конденсата из паровых котлов, и потому была она чище и теплее. Хотя и там было пакостно, да и народу что сельдей в бочке. «Столько соплей и харкотины в воде плавало, что казалось, плывешь в медузьем месиве», – посмеивался Мамаджи.

Зато бассейны «Эбер», «Ледрю-Роллен» и «Бюто-Кай» сверкали так, что не налюбуешься, и воду туда качали прямо из артезианских колодцев. Бассейны эти были муниципальные и служили примером – эдакими образчиками совершенства. Да, был, конечно, и «Турель», еще один большой столичный олимпийский бассейн, – его открыли в 1924 году, ко вторым Парижским играм. Были и другие бассейны – всякие-разные.

Но в глазах Мамаджи ни один из них не мог тягаться с «Молитором». То была настоящая царская купель, истинная гордость Парижа, да и всего цивилизованного мира, пожалуй.

– В этом бассейне и богам было бы незазорно купаться. При «Молиторе» был лучший в Париже клуб пловцов – он-то и устраивал соревнования. Там были две ванны – одна открытая, другая закрытая. Обе размером с крохотный океан. В закрытой протянули две дорожки – для заплывов на короткие и длинные дистанции. Вода в них была до того чистая и прозрачная, что хоть набирай да кофе по утрам вари. Деревянные кабинки-раздевалки, бело-синие, располагались вокруг бассейна в два яруса. С верхнего можно было разглядеть все, что угодно. Дежурными, помечавшими мелом на дверях кабинок «занято», служили хромоногие старички – они хоть и брюзжали без умолку, зато без всякой злобы. Шум и гам – все им было нипочем. Из душей струилась приятная, горячая вода. При бассейне обустроили парилку и спортзал. Зимой открытый

бассейн заливали под каток. Были там и бар, и кафе, и большой солярий, и даже два мини-пляжа с настоящим песком. Каждая плиточка, каждая медяшка или деревяшечка блестела как новенькая. Так все и было, было…

Это был единственный бассейн, после воспоминаний о котором Мамаджи умолкал: ему не хватало слов, чтобы описать все его прелести.

Мамаджи вспоминал, а отец мечтал.

И вот, когда я пришел в этот мир, став последним желанным приобретением в нашем семействе через три года после рождения Рави, меня так и назвали – Писином Молитором Пателем.

4

Наша старая добрая страна уже семь лет как была республикой, после того как приросла еще одной маленькой территорией. Пондишери вошел в Индийский Союз 1 ноября 1954 года. Одно событие местного значения тотчас повлекло за собой другое. Часть земель Пондишерийского ботанического сада отошла под замечательное дело, притом безвозмездно: в Индии был заложен новый зоопарк, и обустроили его в соответствии с самыми современными и разумными с точки зрения биологии требованиями.

Зоопарк был огромный, площадью в несколько акров, – до того огромный, что объехать его можно было разве только на поезде, хотя чем старше я становился, тем меньше он мне казался, как, впрочем, и поезд. Теперь же он стал таким маленьким, что целиком умещается в моей памяти. Представьте себе жаркий, влажный уголок, утопающий в солнечных лучах и ярких красках. Там все цветет буйным, неувядающим цветом. Куда ни глянь – непроходимые заросли деревьев, кустарников, лиан: и священные фикусы, и делоникс королевский, что именуют еще «пламенем леса», и красный хлопчатник, и джакаранда, и манго, и хлебные деревья, и бог весть какие еще, чьи названия так и остались бы для вас загадкой, если б не вбитые рядом памятные таблички. Скамейки – на каждом шагу. На скамейках всегда кто-то лежит и спит, а кто-то просто сидит, как те парочки юных влюбленных, – они робко, тайком переглядываются, а руки их, соприкоснувшись, будто застывают в воздухе. И тут вдруг замечаешь, что из-за

высоких древесных крон за тобой без всякого стеснения подглядывает совсем другая парочка – жирафов. И это далеко не последний сюрприз. Уже через мгновение ты вздрагиваешь от оглушительных воплей обезьян, стаей проносящихся мимо, но их тут же заглушают пронзительные крики диковинных птиц. Подходишь к турникету. Взволнованно расплачиваешься – так, мелочь. Идешь дальше. Видишь маленькую стену. И что же там – за маленькой стеной? Не мелкая же яма с парой огромных индийских носорогов? Но как раз она-то там и находится. А когда поворачиваешь голову, упираешься взглядом в слона: ну и громадина – с ходу и не узнаешь. Зато без труда узнаешь плещущихся в пруду гиппопотамов. Словом, чем дольше смотришь, тем больше подмечаешь. Вот он какой, Зоотаун!

До переезда в Пондишери отец мой служил управляющим в одной большой гостинице в Мадрасе. Однако неизменная любовь к животным побудила его заняться другим делом – и он стал директором зоопарка. Ну и что тут такого, скажете вы, вполне разумное решение, да и какая разница, чем управлять – гостиницей или зоопарком. Неправда ваша! Как ни крути, зоопарк по сравнению с гостиницей – сущий кошмар. Только представьте: постояльцы заперты по номерам; им подавай не только жилье, но и полный пансион; к ним толпами валят гости, а среди них попадаются на редкость шумные и озорные. Чтобы у них убрать, надо обождать, пока те не переберутся, если можно так выразиться, на балконы; и вот сидишь да и ждешь, когда им наскучит окружающий вид и они снова разойдутся по номерам, чтобы затем привести в порядок и балконы; а уборка – дело нешуточное, тем более что далеко не все постояльцы соблюдают чистоту: многие неопрятны, как горькие пьяницы. Притом каждый уж больно разборчив в еде и беспрестанно жалуется, что его-де медленно обслуживают, а чаевых от таких привеpед, ясное дело, не дождешься. Между нами говоря, встречаются среди них и чистые извращенцы: такие или безысходно подавлены и временами взрываются дикой похотью, или ведут себя нарочито распущенно, но и те и другие нередко оскорбляют служащих своими выходками, доходящими порой до кровосмешения. Хотелось бы вам привечать у себя в гостинице эдаких постояльцев? Вот-вот… Пондишерийский зоопарк стал неизбывным источником как редкостных радостей, так и постоянных хлопот для Сантуша Пателя – основателя, хозяина, директора, управляющего персоналом из пятидесяти трех человек, и моего отца.

А по мне, то был рай земной. У меня остались самые счастливые воспоминания о зоопарке: ведь там я вырос. Жил я как принц. Да и какой сын махараджи мог бы похвастаться такой же огромной и роскошной игровой площадкой? В каком еще дворце имелся такой зверинец? В детстве будильником мне служил львиный

рык. Понятно, куда уж львам тягаться в точности со швейцарскими часами, но каждое утро, между пятью и шестью, они как штык принимались рычать. К завтраку неизменно звали вопли и крики ревунов, горных майн и молуккских какаду. В школу меня провожали добрым взглядом не только матушка, но и глазастые выдры, и громадный американский бизон, и потягивающиеся, зевающие орангутаны. Пробегая под деревьями, я то и дело задирал голову, чтобы, не ровен час, не угодить под павлинье пометометание. Безопаснее всего было под деревьями, кишевшими крыланами; единственное, чего, пожалуй, следовало опасаться, окажись ты там спозаранку, так это утреннего концерта: летучие мыши гомонили и пищали так истошно, да еще не в лад, что хоть уши затыкай. Попутно я по привычке задерживался у террариумов – любовался лоснящимися, будто отполированными, лягушками: у одних кожа была изумрудная, у других – желтая с темно-синим отливом или бурая с зеленоватым. Иной раз я заглядывался на птиц – розовых фламинго, черных лебедей, шлемоносных казуаров или на пичужек вроде серебристых горлиц, пестрых капских скворцов, розовощеких неразлучников, черноголовых, длиннохвостых и желтогрудых попугайчиков… Слонов, тюленей, больших кошек или медведей вроде пока не видно – не их время, зато павианы, макаки, мангабеи, гиббоны, олени, тапиры, ламы, жирафы и мангусты пробуждались чуть свет. Каждое утро, перед тем как выйти за главные ворота, я всегда наблюдал одну и ту же картину, обычную и в то же время незабываемую: пирамиду из черепах; переливающуюся всеми цветами радуги мордашку мандрила; величавого молчаливого жирафа; громадную разверстую желтую пасть гиппопотама; попугая ара, который карабкается по прутьям ограды, цепляясь за них клювом и когтями; приветственную дробь, которую исправно отбивает клювом китоглав; колоритную, как у матерого распутника, морду верблюда. Все эти сокровища так и мелькали у меня перед глазами: ведь я спешил в школу. И только после занятий я мог без лишней суеты проверить на себе, каково оно, когда слон обнюхивает твою одежду – нет ли в кармане ореха – или когда орангутан копается у тебя в волосах, думая выудить лакомого клеща, и после обиженно сопит: твоя голова не оправдала-де его надежд. А разве описать словами, как грациозно скользит по воде тюлень, или изящно, подобно маятнику, раскачивается на ветке паукообразная обезьяна, или как бесхитростно крутит головой лев. Нет, слова попросту тонут в этом море красоты. Уж лучше нарисовать себе все это в голове – так оно вернее.

В зоопарке, как и на природе, лучше всего бывать на восходе или на закате. В это время большинство животных бодрствуют. Пробудившись, они выбираются из укрытий и бредут на водопой. Щеголяют своими нарядами. Поют песни. Переглядываются и совершают разные ритуалы. Вот она – награда пытливому

наблюдателю. Лично я бог знает сколько времени отдал неспешным наблюдениям за сложнейшими, многообразнейшими проявлениями жизненных форм, облагораживающих нашу планету. Формы эти до того красочны, громкозвучны, причудливы и изысканны, что просто диву даешься.

Про зоопарки я понаслушался почти столько же небылиц, сколько и про веру в Бога. Некоторые несведущие благожелатели полагают, будто на воле животные счастливы, потому что свободны. Такие люди обычно представляют себе большого, статного хищника – льва или гепарда (образ гну или трубкозуба как-то не приходит в голову). Они представляют себе, как дикий красавец зверь рыщет по саванне в поисках, чем бы поживиться… а после чинно переваривает добычу, безропотно принявшую свою участь, или трусит себе помаленьку, чтобы сохранить стать после роскошного пиршества. Они представляют себе, как зверь гордым и нежным взглядом обводит свое потомство, как все его семейство, разлегшись на ветвях деревьев и довольно урча, любуется заходом солнца. Жизнь дикого зверя, думают они, проста, замечательна и содержательна. Потом его отлавливают злодеи – и сажают в тесную клетку. Прощай, вольное счастье. Отныне зверь помышляет только о свободе – и изо всех сил стремится вырваться на волю. Лишенный свободы, притом надолго, зверь превращается в тень самого себя: дух его сломлен. Вот что думают некоторые благожелатели.

На самом же деле все по-другому.

В природе животными движут принуждение и необходимость, в дикой среде все подчинено незыблемой общественной иерархии; страх там неизбывен, а пищи совсем не густо; приходится денно и нощно охранять свою территорию и страдать от назойливых паразитов. Тогда что толку в такой свободе? И то верно: дикие звери не свободны и на воле – ни в пространстве, ни во времени, ни в отношениях между собой. Теоретически, или, попросту говоря, физически, зверь может податься куда угодно, презрев общественные условности и ограничения, свойственные его виду. Но на деле у животных такое встречается еще реже, чем у представителей нашего племени. Попробуйте-ка сказать какому-нибудь лавочнику: давай, мол, бросай свои дела, семью, друзей, общество, прихвати деньжат, самую малость, да кое-какую одежонку на смену и ступай куда глаза глядят! Уж коли человеку, самому храброму и разумному из всех животных, претит скитаться по белу свету эдаким чужаком-изгоем, никому ничем не обязанным, то что говорить о зверях с их-то нравом, куда более консервативным, чем у нашего брата человека? Да-да, так оно и есть: все звери – консерваторы, а

то и реакционеры. На малейшие перемены в жизни они реагируют крайне болезненно. Они любят, чтобы все было так, как есть, – день за днем, месяц за месяцем. Они терпеть не могут всяких неожиданностей. Взять хотя бы их территориальные взаимоотношения. У каждого зверя, будь то в зоопарке или в природе, есть свое жизненное пространство, и каждый ход их исполнен смысла, как у шахматных фигур. В том, что ящерица, медведь или олень держатся за свое местообитание, случайности или свободы ничуть не больше, чем в позиции того же слона на шахматной доске. В обоих случаях есть порядок и цель. В природе звери из сезона в сезон передвигаются по одним и тем же тропам, влекомые одними и теми же настоятельными причинами. В зоопарке же, если зверь не лежит в определенное время в привычном месте, значит, здесь что-то не так. Это может означать, что в окружающей обстановке кое-что изменилось, пусть и незаметно. Забудет уборщик шланг – тот валяется, свернувшись клубком, и как будто угрожает. Или вдруг образовалась лужа – и она тревожит зверя. А тут еще лестница отбрасывает тень. Но это может означать и нечто большее. В худшем случае – то, чего директор зоопарка боится больше всего: симптом, предвещающий недоброе, – повод осмотреть помет, расспросить смотрителя, пригласить ветеринара… И все потому, что аист стоит не там, где обычно!

Но давайте пока рассмотрим только одну сторону вопроса.

Если вы нагрянете в чужой дом, вышибете ногой дверь, выдворите жильцов на улицу и скажете: «Проваливайте! Вы свободны! Свободны как птицы! Прочь отсюда! Прочь!» – думаете, они тут же пустятся в пляс и запоют от радости? Ничего подобного. Птицы не свободны. Жильцы, которых вы только что выставили на улицу, непременно возмутятся: «По какому праву ты нас гонишь? Это наш дом. Наш собственный. Мы живем здесь не один год. Сейчас вызовем полицию, негодяй ты этакий!»

Кто не знает пословицу: «В гостях хорошо, а дома лучше»? То же самое определенно ощущают и звери. Они – существа территориальные. И в этом вся суть их психологии. Лишь на своей территории они могут следовать двум насущным требованиям природы: таиться от врагов и добывать пищу и воду. Любой пригодный для жизни уголок зоопарка, хоть и огражденный: клетка, яма, окруженный рвом островок, загон, террариум, вольер или аквариум, – та же территория обитания, только она много меньше природной и находится рядом с жизненным пространством человека. Ну а то, что территория эта действительно крохотная по сравнению с природной средой, вполне очевидно. Природные

местообитания огромны отнюдь не по причине вкусовых пристрастий тех или иных животных: такова жизненная необходимость. В зоопарке мы устраиваем животных так же, как сами устраиваемся у себя дома, – стараемся разместить на крохотном пятачке то, что в природе рассредоточено на обширном пространстве. Если в допотопные времена пещера наша была здесь, река – там, на охоту приходилось идти к черту на рога и в том же месте разбивать стоянку, а за ягодами надо было забираться еще дальше, притом что кругом простирались непролазные дебри, поросшие ядовитым плющом и кишевшие львами, змеями, муравьями да пиявками, то теперь «река» течет у вас из крана – только руку протяни, вымыться можно, не отходя от постели, а поесть – там же, где и стряпали; такое жилье легко содержать в чистоте и тепле, да и огородить его – раз плюнуть. Дом – компактная территория, где главные свои потребности мы удовлетворяем в одном месте и в безопасности. Добротное, удобное обиталище в зоопарке – тот же самый дом, только звериный (правда, без камина и прочих удобств, что имеются в каждом человеческом жилище). Обнаружив там все необходимое – наблюдательную площадку, закуток для отдыха, место для кормежки и питья, водоем, уголок для чистки и все такое, сообразив, что больше нет надобности охотиться, что корм берется сам по себе, притом шесть раз в неделю, зверь начинает обживать новое жизненное пространство в зоопарке точно так же, как в природе: обнюхивает его и помечает, к примеру, мочой, сообразно с повадками своего вида. Обосновавшись на новом месте, зверь ощущает себя уже не затравленным приживалой и, уж во всяком случае, не затворником, а полновластным хозяином: в замкнутом пространстве он ведет себя так же, как на воле, всегда готовый защищать свою территорию от незваных гостей и когтями, и клыками. Субъективно огороженное место не хуже и не лучше, чем его местообитание в природе: ежели территория за оградой или на воле ему подходит, значит, так тому и быть, – это такая же простая данность, как пятна на шкуре леопарда. Кто-то мог бы даже поспорить, что зверь, будь он разумен, выбрал бы жизнь в зоопарке, поскольку главное, чем зоопарк отличается от дикой природы, так это сытостью и отсутствием паразитов и врагов в первом случае и вечным голодом да обилием тех же паразитов и врагов – во втором. Сами посудите, что лучше: жить на дармовщину в отеле «Риц», да еще с бесплатным медицинским обслуживанием, или заделаться бродягой, на которого всем наплевать? Впрочем, звери не умеют сравнивать. Будучи по природе существами ограниченными, они принимают все как есть.

В хорошем зоопарке все продумано до тонкостей: так, если зверь предупреждает нас: «Держись подальше!» – пуская в ход мочу и прочие выделения, мы отвечаем: «Сиди где сидишь!» – и для верности отгораживаемся от него решеткой. При таком мирном дипломатическом раскладе и зверь не в

обиде, и нам спокойнее, и мы можем без опаски глядеть друг на друга.

В литературе описано немало историй про зверей, которые хоть и могли сбежать на волю, но не сбегали, а если и сбегали, то непременно возвращались обратно. Вот, к примеру, история про шимпанзе: как-то раз не заперли дверь его клетки, и та открылась сама собой. Шимпанзе переполошился не на шутку: как завопит и давай лязгать дверью туда-сюда, силясь, как видно, закрыть, и так до тех пор, пока кто-то из посетителей не кликнул смотрителя – тот мигом прибежал и исправил оплошность. А в одном европейском зоопарке косули всем стадом выбрались из зоопарка через ворота, которые тоже забыли закрыть. Испугавшись посетителей, косули бросились в соседний лес, где обитали их дикие сородичи и где с лихвой хватило бы места и для них. Однако беглянки скоро вернулись обратно – в свой загон. В другом зоопарке плотник принялся ранним утром перетаскивать доски к рабочему месту, и тут, к его ужасу, из предрассветной дымки – медведь, и прямо на него. Плотник бросил доски и дал деру. Смотрители кинулись искать косолапого беглеца… И нашли в его собственной берлоге: он забрался туда так же преспокойно, как и выбрался, – по стволу рухнувшего дерева. Все решили, что его просто спугнул грохот падавших досок.

Впрочем, я ничего не собираюсь доказывать. И не хочу защищать зоопарки. Хоть все их позакрывайте, ради бога (и будем надеяться, последние из могикан животного мира уж как-нибудь да выживут на оставшихся жалких островках дикой природы). Я знаю, зоопарки нынче не в чести. Как и религия. И то и другое внушает людям лишь иллюзию свободы.

Пондишерийского зоопарка больше нет. Звериные ямы засыпали землей, клетки сломали. А если где и остались его следы, то лишь в одном месте – в моей памяти.

5

На моем имени история моего имени не заканчивается. Если тебя зовут Боб, никто и не спросит: «Как это пишется?» Не то что Писин Молитор Патель.

Кто-то думал, что я из сикхов и зовут меня П. Сингх, и удивлялся, почему я не хожу в тюрбане.

Однажды, когда я был уже студентом, мы с друзьями отправились в Монреаль. И как-то вечером мне приспичило заказать пиццу. Я с ужасом подумал: ну вот, сейчас еще один француз будет надо мной подтрунивать, и, когда по телефону спросили, как меня зовут, я сказал: «Я есмь Сущий». Не прошло и получаса, как принесли две пиццы – на имя Яна Хулигана.

Что верно, то верно, мы меняемся под влиянием людей, которых встречаем, и порой настолько, что сами себя не узнаем, даже имени своего не помним. Взять, к примеру, Симона, нареченного Петром; Матфея по прозванию Левий; Нафанаила, названного Варфоломеем; Иуду – другого, не Искариота, – взявшего имя Фаддей; Симеона, обращенного в Нигера; Савла, ставшего Павлом.

Своего «римского воина» я встретил однажды утром на школьном дворе – мне было тогда двенадцать. Я только-только подошел. И едва он меня заметил, в тупой его голове полыхнуло недобрым огнем. Он вскинул руку, показал на меня пальцем и завопил: «А вот и наш Писун Патель[3 - Игра слов – фр. piscine (бассейн) и англ. pissing (писающий).]пожаловал!»

Все чуть животики не надорвали. Перестали гоготать, только когда мы строем вошли в класс. Я шел последним, увенчанный терновым венцом.

Дети бывают жестоки, это ни для кого не секрет. Мне то и дело приходилось слышать, причем без всякого повода, будто невзначай: «Писун идет. Пора делать ноги!» Или: «Чего к стенке-то отвернулся? Писаешь, что ли?» И все в том же духе. Я цепенел – или просто продолжал свое дело, прикинувшись глухим.

Учителя и те стали меня так называть. Было жарко. В разгар дня урок географии, еще утром казавшийся размером с оазис, вдруг разрастался во всю ширь пустыни Тар[4 - Тар – пустыня в Индии и Пакистане.]; урок истории, такой живой утром, превращался в вязкую грязную лужу; а урок математики, сперва такой стройный, оборачивался хаосом. Сморенные послеполуденной усталостью, обтирая лоб и шею носовым платком, даже учителя без злого умысла, без малейшей охоты кого-то рассмешить, словно забывали про живительную прохладу, наполнявшую мое имя, и принимались его коверкать самым постыдным образом. По едва уловимым признакам я, однако, живо угадывал: ну

вот, сейчас начнется. Их языки были словно наездники, которым не под силу совладать с ретивым скакуном. Правда, с первым слогом – долгим Пи – они еще с грехом пополам справлялись, но жара была нестерпимой, и второй слог – син – одолеть уже не могли. Вместо того они с ходу проваливались в бездну хлесткого сун – и все. Я тянул руку вверх, вызываясь ответить, и тут же слышал: «Да, Писун». Чаще всего учитель даже не отдавал себе отчета в том, как меня назвал. Он устало смотрел на меня и недоумевал, почему я молчу как рыба. А иной раз и весь класс, вконец одурев от жары, сидел точно в ступоре.

На последнем году учебы в школе Сент-Джозеф я чувствовал себя как гонимый пророк Мухаммед в Мекке, мир ему. Он задумал бежать в Медину – совершить хиджру, положившую начало мусульманской эре; так вот и я решил сбежать, чтобы и в моей жизни настали новые времена.

Из Сент-Джозефа я перевелся в Пти-Семинер, лучшую в Пондишери частную среднюю английскую школу. Рави тоже там учился, и мне, как всем младшим братьям, пришлось несладко оттого, что я оказался в тени знаменитого братца. Среди своих сверстников по Пти-Семинеру он слыл чемпионом: лучшего подавалы и отбивалы было не сыскать, вот он и стал капитаном первой в городе крикетной команды, эдаким Капилом Девом местного масштаба. И хотя я плавал как рыба, всем на меня было наплевать – так уж устроен человек: приморцы всегда косятся на пловцов, как горцы – на альпинистов. Но я не собирался отсиживаться за чужой спиной и был согласен на любое другое имя, только не «Писун», хоть бы и на «Рави Младшего». Впрочем, у меня был план и получше.

Я приступил к его выполнению в первый же день, как пришел в школу, на самом первом уроке. Со мной учились и другие питомцы Сент-Джозефа. Урок начался с того же, с чего начинаются первые уроки во всех школах, – с переклички. Мы представлялись в том порядке, в каком сидели за партами.

– Ганапатхи Кумар, – сказал Ганапатхи Кумар.

– Випин Натх, – сказал Випин Натх.

– Шамшул Худха, – сказал Шамшул Худха.

– Питер Дхармарадж, – сказал Питер Дхармарадж.

Учитель коротко, с серьезным видом кивал и ставил галочку против каждого имени в журнале. Я сидел как на иголках.

– Аджитх Джиадсон, – сказал Аджитх Джиадсон, за четыре парты от меня…

– Сампатх Сароджа, – сказал Сампатх Сароджа, за три…

– Стэнли Кумар, – сказал Стэнли Кумар, за две…

– Сильвестр Навин, – сказал Сильвестр Навин, прямо передо мной.

И вот моя очередь. Пора сокрушить сатану. Медина, я иду.

Я выскочил из-за парты и устремился к доске. Учитель не успел и рта раскрыть, как я схватил кусок мела и начал писать, приговаривая:

Меня зовут

Писин Молитор Патель,

известный всем как —

я дважды подчеркнул первые две буквы имени —

Пи Патель,

а ниже, для наглядности, дописал:

? = 3,14,

потом начертал большой круг и провел диаметр, как на уроке геометрии.

В классе повисла тишина. Учитель смотрел на доску. Я стоял, затаив дыхание. Наконец учитель сказал:

– Отлично, Пи. Садись. В другой раз, если захочешь отвечать, не забудь спросить разрешения.

– Понятно, сэр.

Он поставил галочку против моего имени. И обратился к следующему мальчугану.

– Мансур Ахамад, – сказал Мансур Ахамад.

Я спасен.

– Гаутам Сильварадж, – сказал Гаутам Сильварадж.

Я перевел дух.

– Арун Аннаджи, – сказал Арун Аннаджи.

Новые времена настали!

Тот же самый фокус я проделывал перед каждым учителем. Повторение – мать учения, не только применительно к животным, но и к людям. Протиснувшись между двумя мальчишками с обычными именами, я стремился вперед и расписывал доску, порой с жутким скрипом, знаками моего возрождения. После того как я проделал этот фокус несколько раз подряд, мальчишки стали нараспев повторять за мной, и, покуда я собирался с духом, чтобы взять верную ноту, крещендо достигало кульминационного пункта и мое новое имя уже звучало торжественно и громко, на радость любому хормейстеру. С каждым разом я писал все быстрее, и некоторые мальчишки тут же шепотом подхватывали: «Тройка! Точка! Единица! Четверка!» – ну а в финале концерта я так мощно расчерчивал круг пополам, что крошки мела градом отскакивали от доски.

И когда теперь я тянул руку в день, казавшийся мне счастливым, учителя вызывали меня одним кратким звуком, и тот звучал в моих ушах дивной музыкой. Ее подхватила вся школа. Даже те дьяволята из Сент-Джозефа. Так что фокус с именем сработал на славу. Что ни говори, мы – народ-созидатель: через пару-тройку дней мальчишка по имени Омпракаш стал называть себя Омегой, а другой – Ипсилоном, потом пошли Гамма, Лямбда и Дельта, правда, продержались недолго. Так что в Пти-Семинере я был первым греком-долгожителем. Даже мой братец, капитан крикетной команды, светоч наш неугасимый, и тот радовался от души. Через неделю он отозвал меня в сторонку.

– Слыхал, тебе новую кличку дали? – сказал он.

Я словно воды в рот набрал. Потому что знал – сейчас засмеет. Как пить дать, засмеет.

– Не думал, что желтый цвет – твой любимый.

Желтый? Я огляделся. Хоть бы никто не услышал, только бы не его подпевалы.

– О чем это ты, Рави? – пролепетал я.

– Не дрейфь, братишка. Все лучше, чем «Писун». Можно сказать – «Лимонный Пирожок».

На прощание он улыбнулся и бросил:

– Чего раскраснелся-то?

Повернулся – и ушел.

Так обрел я убежище в этой греческой букве, похожей на хибару с просевшей крышей, – в этом заветном иррациональном числе, с помощью которого ученые пытаются познать Вселенную.

Он искусный кулинар. Дома у него, где камин жарит вовсю, всегда пахнет так, что слюнки текут. Кухня, забитая всякими пряностями, больше смахивает на аптекарскую лавку. Когда он открывает холодильник или шкаф, у меня перед глазами мелькают этикетки, каких я раньше и не видывал; честно сказать, я даже не пойму, на каком они языке. Мы в Индии. Но стряпать по-западному у него выходит не хуже. Он потчует меня вкуснейшими острыми макаронами с сыром, каких я в жизни не пробовал. А его вегетарианским тако позавидовал бы любой мексиканец.

А вот еще кое-что: кухонные шкафы так и ломятся. За каждой дверцей, на каждой полке – аккуратные горки консервных банок и коробок. С эдаким запасом и ленинградская блокада была бы не страшна.

7

Мне повезло: в юности у меня было несколько достойных учителей, мужчин и женщин, – они проникли в мой разум и чиркнули спичкой. Одним из них был Сатиш Кумар, учитель биологии в Пти-Семинере и рьяный коммунист, не терявший надежды, что Тамилнад перестанет избирать во власть кинозвезд и последует примеру Кералы[5 - Керала – штат на юге Индии.]. Наружность у него была довольно странная. Макушка – лысая и заостренная, а таких пухлых щек с подбородком я отродясь не видывал; узкие плечи перерастали в огромный живот, походивший на подошву горы, словно повисшей в воздухе: она вдруг круто обрывалась и погружалась горизонтально в брюки. Просто загадка, как такие палкообразные ноги могли выдержать эдакую махину, а они выдерживали, да еще как, хотя порой двигались невообразимым манером, так, будто колени у него легко сгибались в любую сторону. Телосложением он больше походил на геометрическую фигуру – спаренный треугольник, один маленький, другой большой, венчающий две параллельные прямые. Ко всему прочему, был он дрябл, весь в бородавках, а из ушей торчали пучки черных волос. А еще он был дружелюбен. Улыбка его расплывалась во всю ширь основания треугольной головы.

Мистер Кумар был первым откровенным атеистом, которого я встретил. И понял я это не в классе, а в зоопарке. Он частенько к нам захаживал, читал все бирки и

справочные таблички и восхищался всеми животными без разбору. Каждый зверь был для него живым воплощением логики и механики, а природа в целом служила изящным олицетворением науки. Ему, видно, чудилось, будто зверь, готовый к спариванию, говорит: «Грегор Мендель», поминая отца генетики, а когда зверь временами проявлял свой норов, то непременно в память о Чарльзе Дарвине, отце естественного отбора. Ну а то, что мы считаем мычанием, хрюканьем, шипением, сопением, ревом, воем, рычанием, чириканьем и гомоном, – всего-навсего чудной иноземный акцент. Мистер Кумар всякий раз приходил в зоопарк словно затем, чтобы прощупать пульс Вселенной, и его чуткий слух неизменно подтверждал – все в порядке и порядок во всем. Из зоопарка он уходил с радостью, словно совершил новое открытие.

Когда я в первый раз увидел, как этот человек-треугольник переваливается по зоопарку, то даже постеснялся подойти. Как ни любил я своего учителя, он олицетворял собой власть, а я был его подчиненным. И робел. Я стал наблюдать за ним издали. Он подошел к яме с носорогами. Пара индийских носорогов была главной достопримечательностью зоопарка – из-за коз. Носороги живут в сообществе себе подобных, и когда к нам доставили дикого молодого самца Пика, поначалу он не находил себе места от одиночества, почти ничего не ел. И вот на то время, пока ему искали подружку, отец решил посмотреть, не уживется ли тот с козами. Если получится, ценное животное будет спасено. А нет – зоопарк потеряет всего лишь несколько коз. Все получилось, и еще как. Пик до того сдружился с козами, что не захотел с ними разлучаться, даже когда привезли Вершину. И теперь, когда носороги купались, козы обступали грязный водоем со всех сторон, а когда козы кормились у себя в закутке, Пик с Вершиной топтались поблизости, точно верные стражи. Поглядеть на столь забавное семейство собирались толпы посетителей.

Мистер Кумар поднял голову и заметил меня. Улыбнулся и, опершись одной рукой на ограду, другой махнул мне, чтобы я подошел.

– Здравствуй, Пи, – сказал он.

– Здравствуйте, сэр. Хорошо, что заглянули в зоопарк.

– А я частенько заглядываю. Это, так сказать, мой храм. Интересная штука… – Он указал на яму. – Если бы наши политики вели себя как эти козы с носорогами, нам жилось бы легче. К сожалению, от носорога у нашего премьер-министра – только твердолобость, а мозгов – кот наплакал.

В политике я мало что смыслил. Отец с матушкой вечно костерили госпожу Ганди, но для меня все это было пустым звуком. Она жила далеко на севере, не в зоопарке и не в Пондишери. Но надо было сказать хоть слово – так мне показалось.

– Наше спасение в религии, – выдал я. Сколько себя помню, религия была мне по сердцу.

– В религии? – широко улыбнулся мистер Кумар. – Не верю я в религию. Религия – мрак.

Мрак? Я растерялся. А мне казалось, что мрак и религия несовместимы. Религия – свет. Может, он берет меня на пушку? Может, говорит, что «религия – мрак», так же как иной раз объявляет на весь класс, будто «млекопитающие откладывают яйца», и таким способом проверяет, углядит ли кто-нибудь подвох? («Только утконосы, сэр».)

– Объяснять действительность без науки невозможно, да и бессмысленно, и нет смысла верить во что-то, если не полагаешься на свои собственные ощущения. С пытливым умом, острым глазом и небольшим багажом научных знаний религию можно разбить в пух и прах, со всей ее суеверной белибердой. Бога-то нет.

Точно ли он это говорил? Или, может, я путаю его слова с заявлениями других атеистов, тех, что были потом? Во всяком случае, нечто подобное он определенно говорил. И ничего похожего я раньше не слыхал.

– Зачем же смиренно жить во мраке? Жизнь – штука ясная и понятная, только присмотрись.

Он указывал на Пика. Я всегда восхищался Пиком, но мне и в голову не могло прийти сравнивать носорога с лампочкой.

А он знай твердил свое:

– Говорят, Бог умер в тысяча девятьсот сорок седьмом, во время раскола страны. Но ведь он мог умереть и в тысяча девятьсот семьдесят первом, во время войны[6 - Имеется в виду 3-я индо-пакистанская война.]. Или вчера, здесь, в

Пондишери, в каком-нибудь приюте для сирот. Вот что говорят, Пи. Когда мне было столько же лет, сколько тебе, я не вставал с постели – болел полиомиелитом. И каждый день спрашивал себя: «Где же Бог? Где? Ну где же?» А Он так и не пришел. Не Бог спас меня, а медицина. Мой пророк – разум, и он говорит, что умираем мы так же, как часы, когда они останавливаются. Раз – и все. Забарахлили часы – сам их и починяй. Если когда-нибудь у нас в руках окажутся средства производства, все будет по справедливости.

По мне, это было слишком. Говорил он правильно – дружелюбно и решительно, только вот слова его не утешали. И я промолчал. Но не оттого, что боялся рассердить мистера Кумара, а потому, что опасался: стоит сказать одно-два неверных слова – и он разрушит во мне самое дорогое. Что, если от его слов и я заражусь полиомиелитом? И что это за болезнь, если она может убить в человеке Бога?

Он пошел себе дальше – вразвалку, как моряк по палубе во время качки, хотя под ногами была твердая земля.

– Во вторник контрольная, не забудь. Поднатужься, Три-Четырнадцать-Сотых!

– Ладно, мистер Кумар.

Он стал самым любимым моим учителем в Пти-Семинере, потому-то я и пошел учиться на зоолога в Торонтский университет. Но я чувствовал – меня с ним роднит еще что-то. И скоро догадался: атеисты мне братья и сестры, просто они другой веры, и верой этой пронизано каждое их слово. Они, как и я, идут вперед – до тех пор, пока их влечет разум; когда же наконец перед ними разверзается пропасть – точно так же совершают прыжок без оглядки.

Скажу честно. Не атеисты противны мне, а агностики. Сомнения – штука полезная, помогают, хоть и не всегда. Нам всем бы пройти через Гефсиманский сад. Раз уж Христос сомневался, нам пристало и подавно. Раз уж Христос провел последнюю ночь в тревогах и молитве, раз вопиял с креста: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» – то и мы вправе сомневаться. Но идти вперед необходимо. А исповедовать сомнения как философию жизни – все равно что мечтать о движении, стоя на месте.

Мы, зоологи, обычно говорим: самый опасный зверь в зоопарке – человек. В общем это значит, что наш вид, превратившись в ненасытного хищника, глядит на мир как на добычу. А в частности мы подразумеваем людей, которые пичкают выдр рыболовными крючками, медведей – бритвенными лезвиями, слонов – яблоками, утыканными гвоздями, не говоря уже о всякой другой дряни – шариковых ручках, скрепках, булавках, резинках, расческах, ложках, подковах, стекляшках, кольцах, брошках и прочих украшениях (и не каких-то там безделушках, а иной раз самых настоящих золотых кольцах), пластмассовых соломинках и посуде, шариках для пинг-понга, теннисных мячах и бог весть о чем еще. В траурных списках зверей, погибших в зоопарках от проглоченных инородных тел, значатся гориллы, бизоны, аисты, нанду, страусы, тюлени, сивучи, крупные кошки, медведи, верблюды, слоны, обезьяны, самые разнообразные олени, грызуны и певчие птицы. Владельцы и смотрители зоопарков, наверное, помнят нашумевшую историю про гибель Голиафа: это был здоровенный, весом под две тонны морской слон, под стать быку, звезда одного европейского зоопарка, любимец публики. А погиб он от внутреннего кровоизлияния, после того как кто-то скормил ему битую пивную бутылку.

Жестокость нередко проявляется и самым непосредственным образом. В литературе описано немало случаев издевательств над животными в зоопарках: один китоглав погиб от шока, после того как ему молотком раздробили клюв; какой-то умник отрезал ножом бороду у лося и вдобавок – шмат мяса с палец толщиной (а через полгода того же лося отравили); обезьяне сломали руку, когда она потянулась за приманкой – орехами; оленю отпилили ножовкой рога; зебру закололи мечом; да и вообще, с чем только на животных не нападали: с тростями, зонтами, шпильками, спицами, ножницами и разными другими штуковинами, и зачастую – чтобы выколоть глаз или поранить гениталии. Потом, животных травят ядом. Бывает и того хлеще: всякие там извращенцы дразнят обезьян, пони, птиц; какой-то религиозный фанатик отрезал голову змее; другой псих пытался помочиться лосю в рот.

Нам тут, в Пондишери, еще повезло. Мы не страдали от садистов, досаждавших европейским и американским зоопаркам. И все-таки однажды у нас пропал бразильский агути – отец подозревал, что его украли и съели. У птиц – фазанов, павлинов, ара – выдергивали перья любители диковинных сувениров. Как-то раз мы поймали чокнутого, который крался с ножом к загону с азиатским оленьком, – безумец оправдывался, что решил-де проучить злого Равану (в

«Рамаяне» тот похитил Ситу, жену Рамы, обернувшись оленем). Еще одного кретина схватили за руку, когда он собирался украсть кобру. Спасли обоих: кобру – от рабской доли и ужасной музыки, а вора – от верного смертельного укуса. Случалось нам разбираться и с камнеметчиками – они считали, что звери слишком разленились, и хотели их расшевелить. А однажды был случай с женщиной, которую лев сцапал за сари. Она закружилась, как юла, предпочтя смертельный стыд смертельному же исходу. И то был не просто несчастный случай. Женщина подошла к клетке, просунула руку и взмахнула краешком сари прямо перед львиной мордой, правда зачем – для нас так и осталось загадкой. Она не пострадала: очарованные мужчины толпой кинулись ей на выручку. Отцу же она взволнованно сказала: «Неслыханное дело – чтобы лев пожирал сари из хлопка! А я-то думала, они едят только мясо». Но больше всего нам докучали любители подкармливать животных. Хоть мы и глядели в оба, доктор Атал, наш ветеринар, мог определить по числу зверей, страдавших расстройствами желудка, какие дни были для зоопарка самыми горячими. Энтериты с гастритами, возникавшими от переедания углеводов, главным образом сахара, он называл «закусонитами». Жаль, что люди так падки на сладкое. И уверены, что зверям на пользу все, что ни дай. Как бы не так. У одного нашего губача случился тяжелейший геморрагический энтерит после того, как кто-то угостил его тухлой рыбой, думая, что делает добро.

На стене сразу же за билетной кассой отец вывел огненной краской надпись: ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, КАКОЙ ЗВЕРЬ В ЗООПАРКЕ САМЫЙ ОПАСНЫЙ? Стрелка указывала на занавесочку. К занавесочке всегда тянулось столько загребущих рук, что ее приходилось то и дело менять. А за нею висело зеркало.

Но из личного опыта я узнал, что куда более опасным, не чета нам, отец считает другого зверя, самого что ни на есть обычного, – встречается он на всех континентах и живет везде и всюду: это грозный вид Animalus anthropomorphicus, то есть зверь в человеческом представлении. Мы все хоть раз да видели его, а то и держали у себя дома. Зверь этот самый «смышленый», самый «ласковый», самый «дружелюбный», самый «верный», самый «чуткий». Такие звери таятся в засаде во всех магазинах игрушек и детских зверинцах. Что только про них не рассказывают! Они – извечные антиподы тех «вредных», «кровожадных», «наглых» животных, что так притягивают маньяков, о которых я уже говорил и которые, вооружившись кто тростью, кто зонтом, обрушивают на них всю свою ярость. В обоих случаях мы глядим на зверя и будто глядимся в зеркало. Навязчивая убежденность в том, что человек – пуп земли, беда не только богословов, но и зоологов.

Ну а тот урок, что зверь есть зверь, по сущности и в жизни далекий от нас, я усвоил дважды: сперва – с отцом, а потом – с Ричардом Паркером.

Дело было однажды воскресным утром. Я тихо играл сам с собой. И тут послышался оклик отца:

– Ребятки, идите-ка сюда.

Что-то случилось. Голос его отозвался у меня в голове тревожным сигналом. Я стал лихорадочно вспоминать, уж не натворил ли чего. Может, Рави что-то отчебучил? Я думал и гадал: что же на этот раз? Вошел в гостиную. Там была мама. Воспитанием детей, как и уходом за животными, у нас обычно занимался отец. Потом пришел Рави – с печатью вины на шкодливом лице.

– Рави! Писин! Сегодня я преподам вам урок, очень серьезный.

– Разве это так важно? – прервала его матушка. И покраснела.

Я сглотнул слюну. Раз уж матушка, всегда такая сдержанная, такая спокойная, встревожилась, даже расстроилась, значит, дело и правда дрянь. Мы с Рави переглянулись.

– Вот именно, – раздраженно бросил отец. – Может, когда-нибудь это спасет им жизнь.

Спасет жизнь! В голове у меня уже тренькал не крохотный колокольчик, а гудел набатный колокол вроде тех, что слышны с колокольни церкви Пресвятого Сердца, по соседству с нами.

– Да при чем тут Писин? Ему же только восемь! – не унималась матушка.

– Он-то больше всего меня и тревожит.

– Я ничего такого не сделал! – вырвалось у меня. – Наверное, Рави что-нибудь натворил! Он может.

– Чего? – возмутился Рави. – Ничего я не натворил. – И зло глянул на меня.

– Тише! – сказал отец, подняв руку. И посмотрел на матушку. – Гита, ты же сама видела, как Писин… В его годы мальчишки где только не шатаются, куда только не суют нос.

Я? Где только не шатаюсь? Куда только не сую нос? Да нет же, нет! Спаси меня, мамочка, спаси, кричала моя душа. Но матушка только вздыхала и кивала, будто в знак согласия: чему быть, того не миновать, каким бы страшным оно ни было.

– Пойдемте-ка, – позвал отец.

И мы пошли – как на заклание.

Вышли из дома, прошли через ворота, вошли в зоопарк. Было еще рано, и зоопарк для посетителей пока не открыли. Смотрители и уборщики занимались своими делами. Я заметил Ситарама, моего любимого смотрителя, приставленного к орангутанам. Оторвавшись от своих занятий, он проводил нас взглядом. Мы прошли мимо птиц, медведей, больших и маленьких обезьян, копытных, мимо террариума, носорогов, слонов, жирафов.

Подошли к большим кошкам – тиграм, львам и леопардам. Бабу, смотревший за ними, уже ждал. Мы прошли по дорожке чуть дальше, и он открыл дверь в кошачий вольер, помещавшийся на островке, окруженном рвом. Мы вошли. Это была большая мрачная бетонная пещера, круглая, теплая и сырая, насквозь пропахшая кошачьей мочой. Там всюду стояли огромные клетки, отгороженные толстыми зелеными железными решетками. Сквозь застекленные крыши внутрь проникал желтоватый свет. А через решетчатые двери виднелся залитый солнцем зеленый островок. Клетки были закрыты – кроме одной: там держали только Махишу, нашего бенгальского тигра-ветерана, громадного, неуклюжего зверя весом 550 фунтов. Но не успели мы войти, как тот метнулся к решетке, прижал уши, уставился своими круглыми глазищами на Бабу и зарычал. Да так, что содрогнулся весь кошачий вольер. А у меня затряслись поджилки. Я прильнул к матушке. Она тоже вся дрожала. Отец и тот, кажется, дрогнул, хотя виду не подал. Только Бабу не испугался ни рыка, ни жесткого взгляда, которым зверь буравил его, точно сверлом. Он рассчитывал на прочность железных прутьев. Махиша заметался по клетке – взад-вперед.

Отец повернулся к нам.

– Что это за зверь? – крикнул он, заглушив рык Махиши.

– Тигр, – в один голос ответили мы с Рави, безропотно согласившись с очевидным.

– Тигры опасны?

– Да, папа, опасны.

– Тигры очень опасны, – выкрикнул отец. – Хочу, чтоб вы знали: никогда, ни в коем случае не трогайте тигра, не играйте с ним, не суйте руки в клетку, даже близко к ней не подходите. Понятно? Рави?

Рави живо кивнул.

– Писин?

Я кивнул еще живее.

Отец не сводил с меня глаз.

Я кивнул, да так сильно, что у меня чуть не оторвалась голова и не упала на пол.

Должен сказать в свое оправдание, что, хотя порой я и впрямь рядил зверей в людей и они даже бойко болтали у меня по-английски: фазаны с чопорным британским акцентом жаловались, что им-де подали холодный чай, а павианы, замыслив ограбить банк, грозно рявкали, точно заправские американские гангстеры, – это были фантазии, и только. В мыслях я совершенно спокойно обряжал диких зверей в домашние халаты, но при этом всегда помнил, какова она, истинная натура моих партнеров по играм. Уж на это у меня ума хватало. Просто в толк не возьму, с чего это вдруг отцу взбрело в голову, что его младший сынуля спит и видит, как бы поскорее забраться в клетку к какому-нибудь хищнику. Но откуда бы ни взялась эта странная тревога – а отец тревожился по всякому поводу, – в то утро он определенно решил покончить со своими страхами раз и навсегда.

– Сейчас я вам покажу, как опасны тигры, – твердил он свое. – И запомните этот урок на всю жизнь.

Он обернулся к Бабу и кивнул. Бабу куда-то ушел. Махиша проводил его взглядом и не сводил глаз с двери, за которой тот скрылся. Бабу тотчас вернулся, он нес козла со спутанными ногами. Матушка, сзади, обхватила меня руками. Махиша перестал рычать – и гулко, протяжно заревел.

Бабу снял замок, открыл дверь в клетку, примыкавшую к той, где сидел тигр, вошел внутрь и запер дверь за собой. Теперь их обоих разделяли лишь прутья решетки и опускная дверь. Махиша тут же кинулся на прутья и начал скрести по ним когтями. Он уже не просто ревел, а временами нетерпеливо сдавленно фыркал. Бабу бросил козла на пол; бока у того ходили ходуном, язык вывалился, а глаза дико вращались. Бабу распутал ему ноги. Козел мигом вскочил. Бабу вышел из клетки так же осторожно, как и вошел. Клетка была двухъярусная: один ярус располагался на нашем уровне, а другой – в глубине, фута на три выше и чуть поодаль от островка. Козел тут же перескочил на верхний ярус. Махиша отвлекся от Бабу и мягким, плавным прыжком повторил маневр козла у себя в клетке. Улегся на пол и замер, медленно водя хвостом и только этим выдавая свое нетерпение.

Бабу подошел к опускной двери между клетками и потянул ее вверх. В предвкушении удовольствия Махиша затих. Я расслышал только, как отец, обведя нас строгим взглядом, повторил: «Навсегда запомните этот урок» – и как заблеял козел. Он, наверное, блеял и раньше, просто мы не слышали.

Я почувствовал, как матушка прижала руку к моему заколотившемуся сердцу.

Опускная дверь не поддавалась – только громко скрежетала. Махиша был вне себя: казалось, он того и гляди прорвется сквозь прутья. Тигр, похоже, колебался: то ли остаться на месте, там, где добыча близка, но ее все равно не достать, или переметнуться на нижний ярус, откуда далеко до козла, зато ближе к опускной двери. Тигр вскочил и снова зарычал.

Козел принялся скакать. Он подскакивал на невероятную высоту. Никогда не думал, что козлы способны на такое. Но позади клетки высилась гладкая бетонная стена.

Поддавшись с неожиданной легкостью, опускная дверь взлетела вверх. Опять стало тихо – слышалось только, как блеет козел, цокая копытами по полу.

Из клетки в клетку метнулась огненно-черная молния.

Один день в неделю больших кошек обычно оставляют без кормежки, чтобы они хоть так могли ощутить себя на воле. Лишь потом мы узнали, что отец велел морить Махишу голодом три дня кряду.

Не помню, видел ли я кровь, перед тем как отвернулся и рухнул матушке на руки, или я размазал ее жирными пятнами уже после, в моем воображении. Но я точно все слышал. И этого хватило с лихвой, чтобы у меня, прирожденного вегетарианца, потемнело в глазах. Матушка увела нас прочь. Мы были в истерике. Да и матушка была вне себя:

– Как ты мог, Сантуш? Ведь они дети! Ты испугал их на всю жизнь!

Ее укоризненный голос дрожал. На глазах у нее я заметил слезы. И мне полегчало.

– Гита, голубка, это же ради них. Что, если Писин как-нибудь возьмет да сунет руку в клетку – погладить дивную рыжую шерстку? Пусть уж козел вместо него.

Отец говорил мягко и тихо, почти шепотом. Как будто раскаиваясь. Ни разу не слыхал, чтобы он при нас называл маму голубкой.

Мы стояли и жались к матушке. Отец тоже обнял ее. Однако урок на этом не закончился, хотя и не был уже таким жестоким.

Отец повел нас ко львам и леопардам.

– Был в Австралии один сумасшедший с черным поясом по карате. Так он вздумал потягаться силой со львами. И поплатился. Вот дурак! Наутро смотрители нашли от него только рожки да ножки.

– Да, папа.

Гималайские медведи и губачи.

– Одним ударом когтей эти миленькие мишки выпотрошат вас и разбросают внутренности по земле.

– Да, папа.

Гиппопотамы.

– Своей рыхлой, дряблой пастью они перемелют вас в кровавое месиво. А на суше обгонят в два счета.

– Да, папа.

Гиены.

– Самые крепкие челюсти в природе. Не думайте, что гиены трусливы и пожирают только падаль. Чушь! Они и живьем вас слопают за милую душу.

– Да, папа.

Орангутаны.

– Один такой зверь запросто завалит десяток здоровяков. И переломает кости, как спички. Некоторых из них я помню еще малышами, помню, как вы с ними возились. Теперь они повзрослели, набрались сил, и поди угадай, что у них на уме.

– Да, папа.

Страус.

– С виду непоседа и глупыш, да? Так вот, страус – одно из самых опасных животных в зоопарке. Одним ударом клюва запросто перебьет вам хребет вместе с ребрами.

– Да, папа.

Индийский олень.

– Милашка, правда? Если самец вздумает напасть, то вот этими самыми рожками проткнет вас насквозь, как кинжалами.

– Да, папа.

Одногорбый верблюд.

– Одним слюнявым укусом запросто отхватит у вас полбока.

– Да, папа.

Черные лебеди.

– Своими клювами вмиг раскроят вам череп. А крыльями переломают руки.

– Да, папа.

Птицы-малютки.

– Своими клювиками в мгновение ока перекусят вам пальцы, как батончики масла.

– Да, папа.

Слоны.

– Самые опасные звери. В зоопарках от них гибнет куда больше смотрителей и посетителей, чем от любых других зверей. Молодой слон сперва разорвет вас на куски, а после растопчет. Такое случилось в одном европейском зоопарке с бедолагой, который через дырку в ограде пролез в слоновий вольер. А слон постарше, ничем не прошибаемый, прижмет вас к стене или сядет сверху – и всмятку. Как ни смешно, подумать над этим стоит!

– Да, папа.

– Есть еще звери – мы их обошли. Но не думайте, что они не опасны. Животное, даже крохотное, может за себя постоять. Любой зверь свиреп и опасен. Может, он и не убьет, зато точно покалечит. Будет царапаться и кусаться, да так, что страшные гнойные раны, заражение крови, лихорадка и десять дней в больнице, считайте, вам обеспечены.

– Да, папа.

Мы подошли к морским свинкам, единственным животным, которых по распоряжению отца посадили на диету вместе с Махишей – оставили вчера без ужина. Отец открыл клетку. Достал из кармана коробочку с кормом и высыпал на пол.

– Видите, это морские свинки?

– Да, папа.

Обессилевшие от голода зверьки судорожно набивали себе щеки зерном.

– Так-так… – Отец наклонился и вытащил одну наружу. – Вот они не опасны. – Другие свинки мигом бросились врассыпную.

Отец рассмеялся. И передал пищащего зверька мне. Отцу хотелось закончить урок на радостной ноте.

Свинка испуганно замерла у меня в руках. Совсем детеныш. Я подошел к клетке и осторожно опустил его на дно. Он тут же кинулся к матери. Единственно, почему наши свинки считались безопасными – они не кусались до крови и не царапались, – так только потому, что были почти ручные. А так взять морскую свинку голыми руками – все равно что схватиться за лезвие ножа.

Урок закончился. А мы с Рави дулись на отца всю неделю. Матушка тоже держалась с ним холодно. Когда я проходил мимо ямы с носорогами, мне чудилось, будто носороги стоят, печально понурив головы, и переживают, что потеряли во мне верного друга.

Но что поделать, любовь к отцу оказалась сильнее. Жизнь идет своим чередом, и тигров ты как будто уже не замечаешь. Правда, я здорово переживал, что попытался свалить на Рави вину, хотя тот не натворил ничего такого. А он в отместку знай меня стращал, приговаривая: «Ну погоди, вот останемся одни. Будешь следующим козлом!»

9

Когда держишь зоопарк – а это искусство и одновременно наука, – важно приучить зверей к тому, что человек всегда рядом. Главное – сократить дистанцию бегства зверя, то есть свести до минимума то расстояние, на которое он решается подпустить видимого врага. В природе фламинго и глазом не моргнет, остановись вы ярдах в трехстах от него. Но стоит вам подойти чуть ближе, как птица бросится наутек и не остановится, покуда не отбежит на заветные триста ярдов, а то и вовсе будет бежать до тех пор, пока не разорвутся сердце и легкие. У разных зверей и дистанция бегства разная, да и определяют они ее по-разному. Кошки – на глаз, олени – на слух, медведи – на нюх. Жирафы подпустят вас ярдов на тридцать, и то если вы в машине, а если подбираетесь пешком – разбегутся, почуяв вас еще за полторы сотни ярдов. Манящие крабы пустятся наутек с десяти ярдов; ревуны замечутся с ветки на ветку, окажись вы ярдах в двадцати; африканские буйволы насторожатся и с семидесяти пяти.

Сократить же дистанцию бегства можно, если вооружиться знаниями о каждом звере и дать ему приют, пищу и защиту. Сработает – дикий зверь станет кротким и послушным, перестанет бояться и уже не будет помышлять о бегстве. Он будет жив и здоров – на долгие годы; будет тихо кормиться и спокойно воспринимать окружающий мир, в том числе и своих соседей. Но самое, пожалуй, главное – он будет приносить потомство. Не хочу сравнивать наш зоопарк с зоопарками Сан-Диего, Торонто, Берлина или Сингапура: хорошего директора и так видно. Отец мой был директором зоопарка от бога. Недостаток специального образования он восполнял природным чутьем и верным глазом. Он научился читать мысли животных с первого взгляда. И в работе всегда был прилежен, хотя ее все только прибавлялось.

И все же среди зверей непременно находятся такие, которые так и норовят удрать из зоопарка. Особенно те, что содержатся в неподходящих клетках или загонах. Каждый зверь привыкает к своему естественному местообитанию, и это надо учитывать. Если клетка слишком светлая, если там сыровато или пустовато, если насест слишком высок или прямо на виду, если земля – один песок, если веток так мало, что не свить гнезда, если кормушка низковата, если маловато грязи, чтобы поваляться, – и великое множество других «если», – то животное никогда не будет чувствовать себя уютно. И вся трудность не столько в том, чтобы искусственно воспроизвести природные условия, сколько в том, чтобы постичь самую суть этих условий. В загоне все должно быть на своем месте. Иначе говоря, нельзя переступать предела, за которым животное чувствует себя неуютно. И чтоб им пусто было – плохим зоопаркам с никудышными загонами, вольерами да клетками! Это пятно на добром имени всех остальных зоопарков.

Бывают и другие звери-вольнолюбцы – таких отлавливают и загоняют в неволю уже взрослыми, однако они успевают заматереть в своих повадках. Норов их уже никак не изменить и к новым условиям не приспособить.

Но и те звери, что родились и выросли в зоопарке и воли даже не нюхали, те, что привыкли к клеткам и совсем не пугаются людей, даже они, случается, нервничают и норовят показать хвост. Животные все не без чудинки – повадки их порой не угадаешь. Хотя, быть может, это их и спасает и помогает приспосабливаться. Иначе не смог бы выжить ни один вид.

По какой бы причине звери ни стремились сбежать – разумной или безумной, хулителям зоопарков следовало бы знать: животные бегут не куда-то, а откуда-то. Значит, они чего-то испугались на своей территории: не то враг объявился, не то более сильный сородич, а может, тревожный шум послышался. Отсюда и реакция – с места в карьер. Зверь пускается наутек. Я удивился, когда однажды в Торонтском зоопарке – прекрасный зоопарк, должен заметить, – прочел, что леопарды могут подпрыгивать на восемнадцать футов. У нас же, в Пондишери, загон с леопардами окружала стена высотой шестнадцать футов. И подозреваю, Рози с Подражалой не помышляли перемахнуть через нее не потому, что им не хватило бы прыти, а просто им было незачем. Звери-беглецы меняют привычную обстановку на незнакомую, а неизвестности-то зверь и не выносит больше всего.

Беглецы обычно затаиваются в первом же попавшемся закутке, который им кажется безопасным, и если и угрожают кому, то лишь тем, кто ненароком окажется у них на пути к новообретенному убежищу.

11

Вспомним историю про пантеру, сбежавшую из Цюрихского зоопарка зимой 1933 года. Хоть она и была новичком, тамошний самец-старожил вроде бы ее принял. Но вот на лапах у нее появились раны – выходит, отношения между супругами разладились. Никто и не спохватился, чтобы их наладить, – самка сама все решила: обнаружив в крыше клетки пролом, она как-то ночью попросту исчезла. Когда прослышали, что по Цюриху разгуливает хищная зверюга, в городе поднялся страшный переполох. Всюду понаставили капканов, по следу беглянки пустили охотничьих собак. Но те лишь избавили округу от редких бездомных псов. Пантеру не могли найти целых десять недель. Наконец какой-то работяга случайно наткнулся на нее под сараем, в двадцати пяти милях от города, и застрелил. Неподалеку валялись обглоданные кости косули. Тот факт, что большая тропическая кошка, да еще черная, ухитрилась выжить швейцарской зимой больше двух месяцев, притом что ее никто не заметил и она сама ни на кого не напала, говорит сам за себя: звери, сбежавшие из зоопарка, – не опасные рецидивисты, а безобидные дикари, ищущие, где бы понадежнее затаиться.

И случай этот далеко не единичный. Если взять Токио, перевернуть вверх дном да еще как следует встряхнуть, вы диву дадитесь, сколько зверья посыпется наружу. А посыпятся не только кошки с собаками, верно говорю. Но и удавы, комодские драконы, крокодилы, пираньи, страусы, волки, рыси, кенгуру, ламантины, дикобразы, орангутаны, кабаны – такой вот «живнотворный» дождь обрушится вам на зонтик. Где еще такое увидишь – ха! В дебрях мексиканских джунглей, полагаете? Ха-ха! Вот смеху-то, просто потеха! И о чем только люди думают?

12

Иногда он начинает горячиться. Но не оттого, что говорю я (я больше помалкиваю). Его берет за живое собственная история. Память – океан, и он плещется в его волнах. Боюсь, как бы он не остановился. Но история из него так и хлещет. И он все говорит и говорит. Сколько лет прошло, а Ричард Паркер никак не выходит у него из головы.

Он – сама любезность. Каждый раз к моему приходу устраивает настоящее южноиндийское вегетарианское пиршество. Я сказал, что люблю все острое. Даже не знаю, кто меня за язык тянул. Это же полная чушь. И вот я глотаю йогурт ложку за ложкой. Но все без толку. Каждый раз одно и то же: язык перестает ощущать вкус и как будто отмирает, я краснею, как помидор, на глазах выступают слезы, голова превращается в полыхающую огнем домну, а желудок начинает судорожно сжиматься и разжиматься, как удав, заглотивший газонокосилку.

13

Так что, свались вы в львиный ров, лев разорвет вас не потому, что он голодный – будьте спокойны, зверей в зоопарке кормят до отвала – или кровожадный, а потому, что вы вторглись на его территорию.

Между прочим, как раз поэтому в цирке дрессировщик всегда выходит на арену первым, чтобы львы это видели. Таким образом он показывает, что арена – его территория, а не их, и утверждает свои права собственника, раз-другой прикрикнув, топнув ногой или щелкнув кнутом. И на львов это действует как ничто другое. Потеря преимущества их подавляет. Заметьте, как львы выходят: эти грозные хищники, эти «цари зверей» жмутся к краям арены, поджав хвосты, а та, как известно, круглая – никуда не денешься. Ну а рядом сильный, властный самец, «суперальфа», – воле его приходится подчиниться. И вот они уже послушно разевают пасти, садятся на задние лапы, прыгают через бумажные кольца, ползут по трубам, пятятся, кувыркаются. «Что за чудной лев, – с горечью думают они. – Никогда не видали такого. И как лихо нас окрутил. Да и кормушки у нас всегда ломятся, а повадки у него – и впрямь не соскучишься. Но что толку дрыхнуть целыми днями напролет. Ведь нас не гоняют на велосипедах, как бурых медведей, и не заставляют ловить тарелки, как шимпанзе».

Дрессировщик обязан всегда оставаться «суперальфой». Если, не ровен час, дать слабину, можно дорого поплатиться. Зачастую звери ведут себя злобно или агрессивно оттого, что чувствуют свою беззащитность. Зверь, оказавшийся перед вами, должен четко понимать, каково его положение – выше или ниже вашего. Социальный ранг – вот что для зверя главное. Только так зверь определяет, с кем и как себя вести, где и когда есть, отдыхать, пить и тому подобное. Пока зверь не поймет, какого он ранга, жизнь его будет беспорядочной и невыносимой. Он будет нервничать и метаться, а это небезопасно. К счастью для цирковых дрессировщиков, социальный ранг у высших животных далеко не всегда завоевывается силой. Так, в 1950 году Хедигер писал: «Когда встречаются два зверя, тот из них, кто сможет запугать другого, и займет высший ранг; так что положение в зверином сообществе не всегда зависит от исхода поединка – порой все решается одним только взглядом». Вот что говорит Хедигер, большой знаток животных. Он не один год проработал директором зоопарка – сперва в Базеле, потом в Цюрихе. И в звериных повадках разбирается как никто другой.

Побеждает разум – не физическая сила. Цирковой дрессировщик одерживает психологическую победу. Чужая обстановка, прямая осанка, невозмутимость, пристальный взгляд, наступательная тактика, предостерегающие команды (например, щелчок кнутом или резкий свист) – вот те многочисленные уловки дрессировщика, что ввергают зверя в смятение и страх и ставят его на место, а зверю только того и надо. И вот уже «второй» безропотно пасует, а «первый» оборачивается к публике и возглашает: «Представление продолжается! А сейчас, дамы и господа, прыжки через настоящие огненные кольца…»

14

Что интересно, лучше всех по команде дрессировщика проделывает трюки лев низшего ранга в стае – аутсайдер. Он же и больше выигрывает от частого общения с дрессировщиком-«суперальфой». Но дело тут даже не в дополнительных поощрениях. Подобное обхождение означает для него и защиту от сильных сородичей. Этот-то зверь, не уступающий партнерам ни размерами, ни нарочитой свирепостью, по крайней мере на публике, но на деле самый робкий из стаи, и становится гвоздем программы, в то время как сильнейших своих верноподданных дрессировщик заставляет сидеть на цветастых барабанах по краям арены.

То же самое и с другими цирковыми животными, да и в зоопарке та же картина. Звери низшего ранга куда настойчивее заигрывают со смотрителями. Силясь доказать свою преданность, они делаются покладистыми, ласковыми. Так ведут себя и большие кошки, и бизоны, и олени, и гривастые бараны, и обезьяны, и многие другие животные. И зоологи это хорошо знают.

15

Дом его – храм. В прихожей на стене висит картинка в рамке: Ганеша, бог с головой слона. Он сидит и глядит прямо перед собой, краснощекий пузан, улыбчивый венценосец, и держит в трех руках разные вещицы, а четвертую простирает вперед – в знак благословения и приветствия. Он непревзойденный сокрушитель препятствий, бог удачи, бог мудрости, покровитель знаний – просто душка. Гляжу на него, и рот у меня тоже расплывается в улыбке. У ног его – верная крыса. Вместо коня. Случись Ганеше тронуться в путь – он седлает крысу. А на противоположной стене – обыкновенное деревянное распятие.

В гостиной, на столе рядом с софой, – маленькая иконка Девы Марии Гваделупской, тоже в рамке: из-под распахнутой мантии ливнем сыплются цветы. Возле нее – обрамленная фотокарточка Каабы в черном убранстве, исламской святыни, которую обступает десятитысячная толпа правоверных. На телевизоре – бронзовая статуэтка Шивы в обличье Натараджи, космического повелителя танца, управляющего движением Вселенной и ходом времени. Он танцует над поверженным демоном тьмы, театрально простерев все четыре руки и упершись одной ногой демону в спину, а другую удерживая в воздухе. Когда Натараджа опустит эту ногу, время, говорят, остановится.

Алтарь – на кухне. Он помещается в буфете, где вместо дверцы – резная арка. За дверцей – желтая лампочка, чтобы по вечерам алтарь подсвечивался изнутри. За маленьким алтарем – две картинки: сбоку – все тот же Ганеша, а посередине, в широкой рамке, – улыбающийся синий Кришна играет на флейте. У обоих на лбу, поверх стекла, – точки из красно-желтого порошка. На медном блюде, на алтаре, – три серебряные статуэтки-мурти. Он называет их по именам: Лакшми, Шакти, богиня-мать, в обличье Парвати, и Кришна, на сей раз в образе игривого младенца на четвереньках. Между богинями – каменный лингам Шивы в йони, похожий на половинку авокадо с торчащим изнутри обрубком фаллоса, –

индуистский символ мужского и женского космических начал. По одну сторону блюда – маленькая раковина на подставке, по другую – серебряный колокольчик. Рассыпанные рисовые зерна и полуувядший цветок. Многие вещицы помечены теми же желто-красными точками.

На нижней полке – разные культовые предметы: кувшин с водой; медная ложка; лампадка с фитильком, свернутым колечком в масле; курительные палочки и блюдца с красно-желтым порошком, рисовыми зернами и кусками сахара.

В столовой – еще одна Дева Мария.

Наверху, в кабинете, рядом с компьютером, – медный Ганеша, сидящий скрестив ноги; на стене – деревянный Христос на кресте, из Бразилии; а в углу – зеленый молитвенный коврик. Христос поразительный: Он и впрямь страдает. Коврик лежит просто так, вокруг – пусто. Поодаль от него на низкой полке – книга в матерчатом переплете. На обложке – единственное арабское слово из четырех букв: алеф, лям, лям и га. Слово это означает по-арабски «Бог».

16

Все мы рождаемся как будто свободными – разве нет? – от всего и вся, даже от религии, и так и живем, пока какой-нибудь добрый дядя не возьмет нас за руку и не приведет к Богу. Однако для большинства из нас на этом все и заканчивается. А если продолжается, то скорее во вред, чем во благо: со временем многие и впрямь теряют веру в Бога. У меня же – другая история. Вместо упомянутого «доброго дяди» была старшая матушкина сестра, дама далеко не самая современная, – она-то и привела меня в храм, еще совсем младенцем. Тетушка Рохини с восторгом приняла новорожденного племянника и тут же решила поделиться радостью с Богиней-Матерью. «Пусть это будет его первый выход в свет, – сказала она. – Вот и самскара!» Спору нет – символично. Дело было в Мадураи[7 - Мадураи – город в штате Тамилнад, на юге Индии.] – так и началась моя жизнь бывалого странника, с семичасового путешествия на поезде. Впрочем, не это главное. С поезда мы отправились прямиком к индуистскому святилищу: матушка несла меня на руках, а тетушка то и дело ее подгоняла. Я мало что помню о том первом моем хождении в храм – разве только легкий запах благовоний, смутную игру света и тени, зыбкое пламя

светильников, размытые цветные блики, духоту и ощущение тайны, исходившее отовсюду. В душу мне заронили зерно святой веры, размером с горчичное семя, и оставили вызревать. Так оно и прорастает во мне – по сей день.

Я индуист, и причиной тому – пирамидки из кум-кумовой пудры и корзины, полные крупиц драгоценной желтой куркумы; гирлянды цветов и скорлупа битых кокосов; колокольный перезвон, возвещающий о Богоявлении; жалобный плач тростниковых надасварамов и барабанный бой; дробный топот босых ног по каменному полу мрачных коридоров, куда проникает редкий солнечный луч; аромат благовоний; пламя светильников для церемонии арати, кружащее во тьме; сладкозвучные бхаджаны; слоны, благодарно кивающие головами; красочные истории на живописных фресках; всевозможные знаки на лбу, говорящие об одном и том же – о вере. Я запомнил эти яркие картины еще до того, как узнал, что они означают и для чего нужны. Запомнил по велению сердца. В индуистском храме я чувствую себя как дома. И всякий раз угадываю Присутствие – но не обращенное лично к тебе, как оно обычно бывает, а всеобъемлющее. У меня все так же учащенно бьется сердце, стоит только взглянуть на мурти Господа Восседающего – там, в святая святых храма. По правде сказать, я будто попадаю в священную космическую колыбель, где возникло все и вся, и любуюсь жизнью, бьющей оттуда ключом. Руки мои складываются в благоговейном жесте. Душа просит прасада, сладостного дара Богу, – дара, который потом возвращается к нам в виде благословенного угощения. Хочется ощутить ладонями тепло священного пламени и омыть им глаза и лоб.

Но религия – больше, чем обряд или ритуал. Она – то, ради чего существуют обряды и ритуалы. Говорю это опять же как индуист. Я и мир воспринимаю глазами индуиста. Есть Брахман, душа мира, опора, вокруг нее ткется и сплетается ткань всего сущего – одежда, расшитая узорами пространства и времени. А есть Ниргуна-Брахман – у него нет ни свойств, ни качеств, он непостижим, неописуем и недосягаем; с нашим скудным словарным запасом мы можем украсить его лишь такими скромными эпитетами, как Один, Истина, Единство, Абсолютное начало, Высшая реальность, Основа бытия, – костюмчик вроде бы сносный, да вот только на Ниргуна-Брахмане он трещит по швам. И тут уж ничего не попишешь. Но есть еще Сагуна-Брахман – вот у кого всяких качеств с лихвой, да и костюмчик сидит на нем хоть куда. Как только мы его не зовем – и Шивой, и Кришной, и Шакти, и Ганешей; его до некоторой степени можно постичь; его можно наделить определенными качествами: любящий, милостивый, ужасный – и даже считать нашим родственником, хоть и с натяжкой. Сагуна-Брахман – это проявление Брахмана, доступное нашему

убогому пониманию; это – Брахман, воплощенный не только в богах, но и в людях, животных, деревьях, в горстке земли, ибо все на земле отмечено божественной печатью. И правда жизни в том, что Брахман ничем не отличается от атмана, нашей внутренней духовной силы, или, проще говоря, души. Душа каждого человека связана с душой мира точно так же, как любой родник – с потоком подземных вод. И то, на чем стоит мир, непостижимый, не выразимый никакими словами, и то, что составляет нашу суть и рвется к самовыражению, – в сущности, одно и то же. Конечное в бесконечном и бесконечное в конечном. Спроси вы меня, как именно соотносятся между собой Брахман с атманом, я скажу так: как Отец, Сын и Святой Дух, – таинственным образом. Впрочем, тут ясно одно: атман стремится воплотиться в Брахмана, слиться с Абсолютным началом, вот он и странствует по этой жизни, как паломник, рождается и умирает, и снова рождается, и снова умирает – вновь и вновь, до тех пор, пока наконец не сбросит с себя личину странника. Путей к освобождению великое множество, хотя берега, стесняющие путеводный поток, одинаковы на всем его протяжении, и называются они Берегами Кармы; там-то и выясняется, достойны мы освобождения или нет: все зависит от наших прошлых деяний и поступков.

Таков в священной своей сути индуизм, а я был и остаюсь индуистом. И через понятия индуизма определяю свое место в этом мире.

Впрочем, довольно об этом! Чтоб им пусто было – всяким там фундаменталистам да буквоедам! Помню одну историю – про Господа Кришну, только в ней он еще не бог, а пастух. Каждую ночь зазывает он пастушек в лес – потанцевать. Те приходят и танцуют. Ночь черна, костер посреди круга гудит и трещит, музыка играет все быстрее, пастушки танцуют и танцуют со своим любимчиком, а тот, полный сил, готов приголубить каждую. Но стоит любой из них подумать, что Кришна будет принадлежать лишь ей одной, как он тут же с глаз долой. Так что не стоит ревновать к Богу.

Здесь, в Торонто, я знаю одну женщину, которая очень дорога мне. Она – моя приемная мать. Я зову ее Тетушкой-джи, и ей это нравится. Родом она из Квебека. И хотя живет в Торонто уже добрых три десятка лет, а то и больше, думает все так же по-французски и английскую речь иногда просто не воспринимает. Так вот, когда она в первый раз услыхала «Харе Кришна», то ей почудилось «Хайрлес[8 - Хайрлес (Hairless) – по-английски «лысый».] Христиане» – и так чудилось много лет. Разъяснив ей, в чем тут собака зарыта, я сказал, что по большому счету она права: любвеобильные индусы – те же христиане, только наголо остриженные. Так и мусульмане, видящие Бога везде и всюду, – те же

индусы, только бородатые, а набожные христиане – те же мусульмане, только в шляпах.

17

В первый раз чудо потрясает до глубины души – потом оно лишь обрастает новыми впечатлениями. Я обязан индуизму врожденной широтой религиозного воображения, вместившего в себя города и реки, поля битв и леса, священные горы и морские бездны, где боги, святые, злодеи и простой люд живут вместе и вместе же решают, кто мы и каков наш удел. О великой космической силе любви и добродетели я услыхал впервые здесь, на индийской земле. Об этом поведал мне Господь Кришна. Я слушал его и послушался. И тогда мудрый Господь Кришна, проникшись ко мне глубочайшей любовью, свел меня с одним человеком.

Мне было четырнадцать лет, когда я, уже вполне сформировавшийся индуист, повстречал Иисуса Христа – во время каникул.

Отец редко брал отпуск – дела в зоопарке не позволяли, но однажды он все-таки решил отдохнуть, и мы отправились в Муннар, что в штате Керала. Муннар – маленький горный поселок, затерянный среди самых высокогорных чайных плантаций в мире. Дело было в начале мая – муссон еще не пришел. На тамилнадских равнинах стояло адское пекло. В Муннар мы прибыли из Мадураи, одолев пятичасовой переезд в машине по извилистой горной дороге. Тамошняя прохлада обдала нас приятной свежестью, точно холодок от мятной конфеты. Мы жили как туристы. Побывали на Татайской чайной плантации. Катались в лодке по озеру. Заглянули на скотный двор. В национальном парке кормили солью нилгирийских таров – родственников бородатых козлов. («У нас в зоопарке тоже есть такие. Добро пожаловать и к нам в Пондишери», – зазывал отец компанию швейцарских туристов.) Мы с Рави лазили по чайным плантациям, прилегавшим к поселку. Лишь бы чем-нибудь заняться от скуки. А отец с матушкой располагались вечерами в уютной чайной при гостинице, как кот с кошкой у окна на солнышке. Матушка читала, а отец беседовал с нашими соседями.

Муннар раскинулся на трех холмах. Они не такие высокие, как горы, обступающие поселок со всех сторон, но, судя по тому, что я успел заметить в первое утро, за завтраком, было у них что-то общее: на каждом виднелся храм. На холме справа от гостиницы, на другом берегу реки, возвышалось индуистское святилище; на среднем холме, чуть поодаль, приютилась мечеть, а холм слева венчала церковь.

На четвертый день нашего пребывания в Муннаре, поздним вечером, я взобрался на левый холм. Хоть моя школа официально и считалась христианской, в церкви я не был ни разу, да и сейчас не собирался. Я вообще мало что знал про христиан. Слыхал только, что богов у них раз-два и обчелся, а жестокости хоть отбавляй. Зато школы – что надо. Я обошел церковь кругом. Это было здание с толстыми, гладкими светло-голубыми стенами и высокими узкими окнами, через которые ничего не разглядеть. Настоящая неприступная крепость.

Я направился к домику священника. Дверь была открыта. Я спрятался за углом и огляделся. Слева от двери висела дощечка, на ней было написано: «Приходской священник» и «Помощник священника». Против каждого – выдвижная табличка. Священник с помощником были ДОМА, о чем говорили золоченые буквы на табличках, хотя это и так было видно. Один сидел у себя в кабинете, спиной к эркерам, а другой – на скамье за круглым столом в просторной прихожей, служившей, должно быть, одновременно и приемной. Сидел он лицом к двери и окнам, в руках у него была книга – никак Библия, смекнул я. Почитав немного, он отрывал взгляд от книги, потом снова принимался за чтение и опять поднимал глаза. Движения его были размеренными, сосредоточенными, спокойными. Через какое-то время он закрыл книгу и отложил в сторону. Сложил руки на столе и так и сидел – в полном умиротворении: ни воодушевления, ни тени покорной смиренности на лице.

Стены в прихожей были чистые, белые, стол со скамьями – деревянные, черные, а на священнике была белоснежная сутана, – словом, все опрятно и просто, без излишеств. И на душе у меня тоже стало спокойно. Но больше всего поражала не окружающая обстановка, а смутная догадка: вот он сидит тут, доступный всем и каждому, и терпеливо ждет, когда кто-нибудь – да кто угодно – захочет поговорить с ним, и он с любовью выслушает – поможет облегчить душу, свалить камень с сердца, очистить совесть. Он – тот, чей удел любить, утешать и направлять по мере сил и возможностей.

Я расчувствовался. Открывшаяся моим глазам картина глубоко запала мне в сердце, всколыхнула душу.

Он встал. И я подумал: вдруг сейчас возьмет и перевернет свою табличку. Но ничего такого не случилось. Он прошел вглубь дома, и только, а дверь из прихожей в другую комнату осталась открытой, как и входная. Точно помню, обе двери были настежь. Значит, заходи любой – к нему и к его собрату.

Я пошел прочь – и вдруг решился. И вошел в церковь. Тут у меня схватило живот от страха. А ну как выскочит какой-нибудь христианин да как гаркнет: «Ты что здесь забыл? Как посмел осквернить святыню, негодник ты этакий? Вон отсюда, сейчас же!»

Но никто не выскочил. И впрямь – чудно, как и все вокруг. Я прошел еще дальше и заметил в глубине алтарь. На нем было что-то нарисовано. Может, мурти? Наверное, человеческое жертвоприношение. Злой бог, жаждущий крови. Изумленная женщина возвела глаза к небу, а в небе порхают пухленькие младенцы с крохотными крылышками. И какая-то чудная птица. Кто же из них бог? Рядом с алтарем – размалеванная деревянная скульптура. Еще одна жертва – побитая, истекающая яркими красками. Я посмотрел на ее колени. Сплошь в ссадинах. Содранная розовая кожа свисает клочьями, как лепестки у цветка, оголив огненно-красные коленные чашечки. Как же не похожа эта изуверская картина на ту, что в домике священника.

На другой день, в то же время или около того я был уже там – ДОМА.

Католики славятся строгостью нравоучений, давящих непосильным бременем. Но ничего такого про отца Мартина я сказать не могу. Он был очень добрый. Принес мне чаю с печеньем – целый сервиз, где все позвякивало да побрякивало, стоило только до чего-нибудь дотронуться. Говорил он со мной, как со взрослым, и даже рассказал историю. Вернее – Историю, потому как христиане уж больно любят заглавные буквы.

Ту еще историю. Сперва я не поверил ни единому слову. Что-что? Люди грешат, а Сын Божий за них за всех расплачивается? Представляю, как папа говорит: «Писин, сегодня лев забрался в загон к ламам и двух задрал. А другой разорвал вчера черную антилопу. На прошлой неделе два льва сожрали верблюда. А за неделю до того досталось пестрым журавлям и серым цаплям. Ну а кто слопал

бразильского агути – попробуй угадай? В общем, дело дрянь. Надо что-то решать. Вот я и решил – скормлю-ка львам тебя, только тем они и искупят свои грехи».

«Да, папа, пожалуй, так оно верней и справедливей. Дай только схожу помоюсь».

«Аллилуйя, сын мой».

«Аллилуйя, папа».

Да уж, странная история. Странная и непонятная.

Я попросил рассказать еще какую-нибудь историю. Ведь наверняка у этой религии есть и другие истории; у религий полно всяких историй. А отец Мартин объяснил, что все другие, предыдущие истории – а их много – про то, как возникли христиане, только и всего. У их же религии всего лишь одна История, и они вспоминают ее снова и снова, без конца. Тем и довольствуются.

В тот вечер я сидел в гостинице тише воды ниже травы.

То, что у Бога хватало врагов, еще понятно. Индуистским богам тоже приходилось несладко от всяких там разбойников, жуликов, грабителей и захватчиков. Да и что такое «Рамаяна»? Не что иное, как описание одного злополучного дня Рамы. Враги – да. Злой рок – понятно. Коварство – не без того. Но унижение? Смерть? Даже не представляю, как Господь Кришна смог бы позволить, чтобы с него сорвали одежды, высекли, насмеялись, протащили по улицам и в довершение распяли, и все это – руками простых смертных. Никогда не слыхал, чтобы хоть один индуистский бог умер. Брахман Явленный не может умереть. Демоны и чудовища, как и люди, умирали тысячами и тысячами – оно и понятно. Да и материя распадалась в прах. Но богам смерть нипочем… Нет, неправильно это. Мировая душа не может умереть, да и никакая ее часть не может. Неправильно поступил этот самый христианский Бог, когда отдал Свою аватару на смерть. Это все равно что умертвить половину Себя. Ведь если Сын принял смерть, то настоящую. Если Бог на кресте притворяется, что страдает за всех людей, выходит, он и Страсти Христовы превращает в комедию. Смерть Сына должна быть настоящей. И отец Мартин сказал – так оно и было. Но если Бог умер, значит, навсегда, хоть он и воскрес. И привкус смерти должен

остаться на устах Сына на веки вечные. Печать смерти должна лежать и на Троице, и на деснице Бога Отца. Ужас, да и только. И зачем Богу все это было нужно – на Свою-то голову? Почему бы не оставить смерть смертным? Зачем марать то, что красиво, и портить то, что совершенно?

От любви. Вот что ответил отец Мартин.

А Сын-то что? Есть одна история про маленького Кришну, которого оговорили его дружки, – сказали, что он наелся грязи. Тогда кормилица Яшода пришла к нему и погрозила пальцем. «Нельзя есть грязь», – пожурила она. «А я и не ел», – как ни в чем не бывало отвечал владыка всего сущего, шутки ради прикинувшийся испуганным чадом человеческим. «Ах ты! Ох ты! А ну-ка, открой рот!» – велела Яшода. Кришна сделал, что было велено. Открыл рот. Яшода так и ахнула. Увидела она во рту у Кришны целый мир, без начала и конца, все светила небесные, и планиды, и дали, их разделяющие, увидела и земли все, и моря, и жизнь, их наполняющую; увидела она прошлое и будущее; увидела все помыслы человеческие и чувства, печали все и надежды, и три составные части материи увидела; ни один камушек, ни один огонек свечи, ни одна тварь живая, ни одна деревня и ни одно звездное скопление не ускользнули от ее взора, как и она сама, Яшода, и вся грязь земная. «Закрой рот, о повелитель», – благоговейно молвила она.

А есть история про то, как Вишну воплотился в карлика Ваману. И попросил у царя демонов, Бали, столько земли, сколько сможет отмерить своими шагами. Бали рассмеялся, услыхав просьбу жалкого недоростка. Но согласился. А Вишну возьми да и прими истинный свой облик – космический. Первым шагом он покрыл всю землю, вторым – небеса, а третьим пнул Бали под зад и столкнул в подземный мир.

Даже Рама, единственный человек из аватар, хоть ему и приходилось то и дело напоминать, что он как-никак бог, – и тот не ударил в грязь лицом и отбил свою жену Ситу у Раваны, царя демонов из Ланки. Уж его-то не устрашил бы никакой крест. Как только грянула беда, он превзошел свои человеческие возможности и, исполнившись нечеловеческой силы, взял в руки оружие, которое не удержал бы ни один человек.

Бог должен быть Богом. Великим, всесильным, всемогущим. Только такой Бог может прийти тебе на выручку и уничтожить зло.

А этот Сын, вечно голодный и жаждущий, изнуренный, печальный и тревожный, поруганный и оскорбленный, вынужденный сносить нерадивых учеников и хулителей Своих, – какой же он бог? Самый обыкновенный человек – вот кто. Творил чудеса – ну да, только все больше по целительной части; ну накормил десяток-другой голодных; самое большее – укротил бурю да прогулялся чуток по воде. Разве это чудеса – так, баловство одно, вроде карточных фокусов. Да любой индуистский бог может в сто раз больше. А этот Сын, тоже мне бог, только и горазд языком чесать, байки Свои рассказывать. Сын этот, тоже мне бог, всюду ходил пешком – по эдакой-то жарище, – как какой-нибудь простолюдин, всю дорогу топал сандалиями по камням; а решив раз пустить пыль в глаза, уселся на обыкновенного осла – ничего себе скакун. Сын этот, тоже мне бог, умирал три часа, стеная, задыхаясь и обливаясь слезами. Какой же это бог? И что такого выдающегося в этом Сыне?

Любовь, сказал отец Мартин.

И Сын этот явился лишь однажды, давным-давно, далеко-далеко? К темному народу в тихой заводи на западной окраине Азии, на задворках позабытой империи? А Сам испустил дух еще до того, как седина успела тронуть Его голову? Не оставил ни одного потомка – только скудные, обрывочные воспоминания по себе, только покрывшиеся грязью жалкие закорючки? Погодите-погодите. Это даже не Брахман-отшельник. Это – себялюбивый Брахман, скупой Брахман, несправедливый Брахман, – Брахман, по сути дела, и вовсе не проявленный. Уж коли Брахману суждено иметь одного-единственного сына, отчего бы ему не показать такую же прыть, какой блистал Кришна, резвясь с пастушками, а? Чем объяснить эдакое божественное убожество?

Любовью, неизменно повторял отец Мартин.

Благодарю покорно, лучше буду и дальше верить в любимого моего Кришну. В своем божественном ореоле он просто неотразим. А вы уж оставьте вашего Сына, вашего потного горемыку-болтуна при себе.

Так-то вот воспринял я того древнего равви-баламута – с недоверием и досадой в сердце.

Мы пили чай с отцом Мартином три дня кряду. И всякий раз, как только чашки наши звякали о блюдца, а ложки – о края чашек, я принимался его

расспрашивать.

И ответ всякий раз был один и тот же.

Как же он мне надоел, этот Сын. С каждым днем Он раздражал меня все больше, и все больше недостатков угадывал я в Нем.

Какой же Он вздорный! Как-то утром в Вифании Бог проголодался; Богу угодно было покушать. И вот подходит Он к смоковнице. А время плодоносить еще не пришло – нет, стало быть, на дереве плодов. Бог Сын рассержен. И ворчит: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек», – и смоковница чахнет прямо на глазах. Так говорит Матфей, а следом за ним и Марк.

Позвольте, разве виновата смоковница, что время плодоносить еще не пришло? Зачем было делать так, чтобы неповинное дерево враз зачахло?

Я никак не мог выбросить Его из головы. И сейчас не могу. Целых три дня я только про Него и думал. Чем меньше Он мне нравился, тем глубже западал в душу. И чем больше я узнавал о Нем, тем меньше хотел с Ним расставаться.

В последний день, за несколько часов до отъезда из Муннара, я кинулся бегом на холм – тот, что слева. Поступок, скажу вам, чисто христианский. Христиане вечно спешат. Только поглядите на мир, сотворенный в семь дней. Даже в символическом смысле творение это – жуткий хаос. У любого, кто вышел из лона религии, где борьба за одну-единственную душу похожа на бесконечный марафон длиной в столетия и с участием бессчетных поколений, передающих друг дружке эстафетную палочку, от стремительно-дерзновенной поступи христианства голова пойдет кругом. Если индуизм сродни неспешному течению Ганга, христианство подобно суматохе в Торонто в часы пик. Религия эта легкокрыла, как ласточка, и неудержима, как скорая помощь. Она вспыхивает на пустом месте – и сгорает в одночасье. Еще мгновение – и ты пан или пропал. Христианство глядит назад – в прошлое, хотя, в сущности, живет мигом единым, вернее, сегодняшним днем.

Я забрался на холм. Хотя отца Мартина не было ДОМА – увы, табличка его была перевернута, – хвала Богу, он все же оказался на месте.

Едва переведя дух, я выпалил:

– Отец, хочу быть христианином, можно?

Он улыбнулся:

– Ты им уже стал, Писин, – в сердце. Всякий, кто с открытой душой принимает Христа, считается христианином. И ты принял Христа здесь, в Муннаре.

Он погладил меня по голове. Хотя на самом деле – как будто оглушил. Прикосновение его руки гулко отдавалось в голове – БУМ-БУМ-БУМ.

Я думал, от радости у меня разорвется сердце.

– Вот приедешь опять, еще чаю попьем.

– Конечно, отец.

И он добродушно улыбнулся. Улыбкой Христа.

Я зашел в церковь – на этот раз без всякой опаски: теперь это и мой дом. И помолился Христу – живому. Потом опрометью сбежал с холма, того, что слева, и так же быстро взбежал на другой холм, тот, что справа, – и возблагодарил Господа Кришну за то, что он свел меня с Иисусом Назореем, самым человечным из богов.

18

Ислам не заставил себя долго ждать – не прошло и года. Мне было пятнадцать – самое время познакомиться с родным городом вплотную, облазить все уголки и закоулки. Мусульманский квартал оказался в двух шагах от зоопарка. Тихие узкие улочки, домики с арабской вязью и полумесяцами на фасадах.

Я дошел до Мулла-стрит. Взглянул одним глазком на Джамия Масджид – Великую мечеть. Внутрь, ясное дело, я ни ногой. Ислам, поговаривали, еще хуже христианства: богов и того меньше, жестокости не в пример больше, а уж о

мусульманских школах я отродясь доброго слова не слыхал. Так что внутрь, думал я, ни-ни, дураков нет. Правда, там пусто, ну так и что с того? Все равно снаружи все видно. Стены чистые, белые, только по углам зеленая кайма; внутри ни души. Длинные соломенные циновки на полу. Крыши, кажется, вовсе нет, только два стройных желобчатых минарета тянутся к небу на фоне высящихся позади кокосовых пальм. Ничего такого «священного». Да и вообще ничего особенного: уютное, спокойное местечко, и все тут.

С тем я и двинулся дальше. За мечетью лепились друг к другу вдоль улицы обшарпанные лачуги: одинаковые крылечки под навесами, выцветшая зелень оштукатуренных стен. В одном из домишек оказалась лавка. Первым делом мне бросилась в глаза полка, заставленная пыльными бутылками апельсинового «Тамзап», и четыре прозрачные пластиковые банки, до половины засыпанные леденцами. Но по-настоящему тут торговали чем-то другим: какими-то белыми плоскими кругляшами. Я подошел поближе. Смахивало на пресные лепешки. Я ткнул пальцем – тесто сухо хрустнуло. Да им небось в четверг сто лет будет! И кто их купит? Я взял одну и потряс – разломится или нет?

– Хочешь попробовать?

Я аж подпрыгнул от неожиданности. Да и кому не случалось поддаться этой усыпляющей игре светотени: солнечные блики мелькают перед глазами вперемешку с пятнами сумрака, мысли уплывают куда-то вдаль… и в упор не замечаешь, что творится у тебя прямо под носом.

А прямо под носом у меня сидел, скрестив ноги, продавец этих самых лепешек. От испуга я вскинул руки и выронил хлебец. Тот пролетел до середины улицы и шлепнулся прямиком на свежую кучу коровьего навоза.

– Простите, пожалуйста! Я вас не заметил! – выпалил я, уже собираясь пуститься наутек.

– Ничего страшного, – спокойно сказал продавец. – Корова съест. Вот, возьми другую.

Он разломил лепешку пополам, и мы вдвоем ее съели. Тесто и вправду было черствое, жесткое, как резина, – та еще работенка для зубов, – однако сытное. Я успокоился и подумал, что надо бы поддержать разговор:

– Вы их сами печете?

– Да. Хочешь, покажу?

Продавец поднялся со своего помоста и поманил меня за собой – в дом.

В лачуге оказалось две комнаты: ту, что побольше, почти целиком занимала печь, а спальню от пекарни отделяла лишь хлипкая занавеска. Пол печи был выложен гладкими камнями. Мой новый знакомец начал было объяснять, как выпекают хлеб на этих разогретых камнях, – как вдруг со стороны мечети донесся заунывный клич муэдзина. Я знал, что это призыв к молитве, но не представлял себе, что за этим должно воспоследовать. Памятуя о том, как христиан сзывают в церковь колокольным звоном, я воображал, будто правоверный мусульманин должен все бросить по этому зову и бежать в мечеть. Как бы не так! Пекарь прервался на полуслове, извинился, юркнул в другую комнату, тотчас вернулся с ковриком, скатанным в трубку, и расстелил его на полу пекарни, взметнув попутно целую мучную бурю. И начал молиться – прямо у меня на глазах, не отходя от печи. Я оторопел: ну разве так можно? Это же просто неприлично! Однако же лишним почувствовал себя я, а не он. Хорошо еще, он молился с закрытыми глазами.

Сначала он постоял, бормоча что-то по-арабски. Приложил руки к ушам, большими пальцами коснувшись мочек, – никак прислушивался: что-то ответит ему Аллах? Потом согнулся в поклоне. Снова выпрямился. Упал на колени и уткнулся головой в коврик. Разогнулся. Снова припал к земле. После чего встал и начал все сначала – по второму кругу.

Вот те на, подумал я, а всего ислама-то – немудрящая гимнастика. Эдакая бедуинская йога со скидкой на жару. Асаны без пота, небеса без хлопот.

А он повторил все четыре раза кряду, не прекращая бормотать. Напоследок повертел головой вправо-влево, замер на секунду-другую в медитации – и все. Открыл глаза, улыбнулся и сошел с коврика. Скатал его легким мановением руки, выдававшим давнюю привычку, отнес на место и вернулся ко мне:

– На чем я остановился?

Вот так я и увидел впервые мусульманскую молитву – торопливую, неукоснительную, пластичную, невнятную, потрясающую до глубины души. И когда я в очередной раз молился в церкви – безмолвно застыв на коленях перед Христом на кресте, – меня все преследовал тот образ гимнастического единения с Богом посреди мешков с мукой.

19

Я пришел к нему снова.

– Во что вы верите? – спросил я.

Глаза его вспыхнули.

– В Возлюбленного, – ответил он.

Покажите мне такого умника, который ухитрится понять ислам, почувствовать его дух – и не полюбить его. Это прекрасная религия братства и благоговейной любви.

Мечеть и впрямь оказалась без крыши – открытая всем ветрам, распахнутая навстречу Богу. Мы сидели, скрестив ноги, и слушали имама, пока не настал час молитвы. Тогда хаотичный орнамент на полу рассыпался: слушатели, сидевшие где придется, поднялись и выстроились плечом к плечу, ряд за рядом. Ряды сомкнулись – ни одного промежутка, все пространство заполнилось сплошь. Как приятно было коснуться лбом земли! Я сразу же ощутил, как соприкасаюсь в глубине души с чем-то священным.

20

Он был суфием – мусульманским мистиком. Он стремился к фане – слиянию с Богом, и с Богом его связывали глубоко личные отношения, проникнутые

любовью. «Сделай хотя бы два шага в сторону Бога, – приговаривал он, – и Бог сам побежит тебе навстречу!»

На вид он был совершенно невзрачный: ровным счетом ничего примечательного ни во внешности, ни в одежде. Неудивительно, что в ту первую встречу я не сразу его заметил. Даже и потом, когда наше знакомство переросло в дружбу, я далеко не всегда узнавал его при встрече с первого взгляда. Звали его Сатиш Кумар – имя и фамилия в Тамилнаде очень распространенные, так что совпадению удивляться нечего. Но все-таки забавно было, что этого набожного пекаря, неприметного, как тень, и здорового, что твой бык, зовут точно так же, как и учителя биологии – истового коммуниста и поклонника науки, в детстве тяжело переболевшего полиомиелитом и смахивающего теперь на живую гору на ходулях. Мистер Кумар и мистер Кумар указали мне путь на факультеты зоологии и теологии Торонтского университета. Мистер Кумар и мистер Кумар были пророками моей индийской юности.

Мы молились вместе и вместе совершали дхикр – перечисляли вслух девяносто девять имен Бога, все, кроме сотого, тайного. Мистер Кумар был хафизом, то есть знал Коран наизусть, – и читал его нараспев, медленно и без затей. Арабский я так толком и не выучил, но мне нравилось, как он звучит. Эти долгие, протяжные гласные, перемежаясь гортанными взрывами, струились ручьем почти за гранью моего разумения. Я подолгу вглядывался в воды этого прекрасного ручья. Он был не так уж широк – в один-единственный голос шириной, но глубок, как сама Вселенная.

Я назвал дом мистера Кумара лачугой. Но никакое святилище, никакая мечеть или церковь не внушали мне такого благоговения, как эта пекарня. Выходя оттуда, я, бывало, чуть не разрывался от переполняющей меня благодати. Тогда я садился на велосипед и рассеивал избыток радости в окружающий мир, налегая что было сил на педали.

Однажды я таким образом укатил за город, и на обратном пути, на пригорке, откуда по левую руку открывался вид на море, а впереди далеко-далеко вдаль тянулась дорога, мне вдруг почудилось, что я в раю. Я проезжал здесь совсем недавно, и само место ничуть не изменилось с тех пор: просто я увидел его по-иному. Страстное, блаженное чувство охватило меня – немыслимая смесь кипучей энергии с глубоким, совершенным спокойствием. Дорога и море, деревья, воздух и солнце, прежде говорившие со мною каждый по-своему, вдруг заговорили на всеобщем языке единства. Дерево не упускало из виду дороги, та

не забывала о воздухе, помнившем, в свою очередь, о нуждах моря, у которого оказалось так много общего с солнцем. Каждая частичка этого мира пребывала в гармоничном содружестве со всеми своими соседями, и все вокруг было друг другу сродни. Я упал на колени смертным – а восстал бессмертным. Я был точкой в центре крошечного круга, совпадавшей с центром окружности куда более обширной. Атман слился с Аллахом.

Был и еще случай, когда Бог подошел ко мне так же близко. Гораздо позже, уже в Канаде. Я гостил у друзей за городом. Дело было зимой. Я возвращался домой с прогулки, шагал себе один через участок, а участок у них большой. День выдался ясный, солнечный, а накануне ночью шел снег, и все стало белым-бело. Уже на подходе к дому я обернулся. Там был лесок, а в лесу – прогалина. Ветка только что качнулась – то ли под ветром, то ли зверь задел, – и мелкий снег закружился в воздухе, сверкая на солнце. И в той золотой пороше на лесной прогалине, расцвеченной бликами света, я увидел Деву Марию. Почему именно ее? Не знаю. Марии я поклонялся постольку-поскольку. Но явилась она. Бледная. В белом платье и синем плаще; помню, как поразили меня все эти струящиеся складки. Когда я говорю, что увидел ее, не надо понимать это буквально, хоть у нее и были плоть и цвет. Я почувствовал, что вижу ее, – зрением за гранью зрения.

Я остановился и прищурился. Она была прекрасна и необыкновенно величава. Она улыбалась мне с нежной любовью. Через несколько секунд она исчезла. Сердце мое трепетало благоговейным страхом и радостью.

Лицезрение Бога – вот высшая из наград.

21

Я остаюсь в кафе один – сижу, размышляю. Провел с ним почти целый день. После каждой встречи с ним начинаю досадовать на то угрюмое довольство, в котором проходит моя жизнь. Что там из его выражений так меня поразило? Ах да – эти «пресные голые факты действительности», и еще – «история поинтереснее». Я беру ручку и бумагу и записываю:

«Признаки религиозного сознания: духовная экзальтация; устойчивое состояние душевного подъема, восхищения, радости; пробуждение духовного понимания, представляющегося куда более важным, чем познание средствами разума; упорядочение мира в соответствии с духовными, а не интеллектуальными категориями; осознание того, что основополагающий принцип бытия есть то, что мы называем любовью, которая проявляется подчас неясно, не в чистом виде, не напрямую, но всегда неотвратимо».

Я задумываюсь. Что там насчет безмолвия Бога? Все тщательно взвесив, я добавляю:

«Смятение разума, но при этом – проникнутое доверием ощущение божественного присутствия и высшего смысла».

22

Легко могу представить себе последние слова атеиста: «Бело, бело! Л-любовь! Боже мой!» – и предсмертный прыжок в объятия веры. Что же до агностика, то этот омывающий его теплый свет он обзовет не иначе как «п-п-прекращением п-п-подачи кислорода в м-м-мозг», – ни на что другое просто не хватит фантазии, – и, храня верность своей рассудочной натуре и фактам действительности как они есть, пресным и голым, пропустит в итоге историю поинтереснее.

23

Увы, но то самое чувство общности, что связывает между собой единоверцев, на меня навлекло беду. В конце концов о моих религиозных похождениях прослышали не только те, кого они не волновали нисколечко, а лишь забавляли, но и те, кого они взволновали не на шутку – и нисколечко, надо заметить, не позабавили.

– Что ваш сын делает в капище? – вопросил священник.

– Вашего сына видели в церкви. Он крестился! – объявил имам.

– Ваш сын обратился в мусульманство, – сообщил пандит.

Вот так это все и вывалили на голову бедным моим родителям. Они ведь ничего знать не знали! Они понятия не имели, что я теперь практикую индуизм, христианство и ислам. Подростки всегда что-нибудь да скрывают от родителей – а я чем хуже? У всякого шестнадцатилетнего мальчишки найдутся свои секреты. Но судьба распорядилась так, что в один прекрасный воскресный день на приморском бульваре имени Губерта Салаи отец и матушка встретили трех волхвов (как я и буду их впредь называть), и тайна моя вышла наружу. Стояла жара, но с моря тянуло прохладой, и Бенгальский залив ярко сверкал под синим небом. По набережной неторопливо прогуливались горожане. Визжали и смеялись детишки. Вокруг пестрели воздушные шары. Мороженое шло нарасхват. Ну скажите на милость, почему бы в такой славный денек не выбросить из головы все дела? Что им стоило просто пройти мимо, улыбнувшись и приветливо кивнув? Но не тут-то было. Надо же, какая незадача! Нас угораздило встретить не кого-то одного, а всех троих, и даже не по очереди, а всех сразу, и притом каждый, заметив нас, почему-то решил, что вот он, удачнейший случай побеседовать с этим светочем пондишерийского общества – директором зоопарка и воздать хвалы его образцовому в своей набожности отпрыску. Завидев первого волхва, я улыбнулся, но к тому моменту, как показался третий, улыбка застыла на моем лице маской ужаса. Когда же все трое недвусмысленно устремились в нашу сторону, сердце у меня подскочило и ухнуло в пятки.

Досада отразилась на лицах моих волхвов, когда они заметили, что все втроем приближаются к одной и той же цели. Должно быть, каждый подумал, что остальные из вредности выбрали именно этот момент, чтобы потолковать с моим отцом о каких-то других делах – отнюдь не пастырских. И каждый смерил соперников недовольным взглядом.

При виде трех незнакомых священнослужителей, что, расплываясь в улыбках, учтиво заступили им дорогу, родители мои опешили. Да, надо пояснить: с религией мое семейство не имело ничего общего. Отец считал себя истинным гражданином Новой Индии – роскошной, современной и светской, как мороженое. Религиозной жилки он был напрочь лишен. Он был человеком деловым – в смысле, человеком дела: работящим, практичным профессионалом. Проблему близкородственного спаривания среди львов он принимал к сердцу

куда ближе, чем все на свете моральные и экзистенциальные умопостроения. Правда, каждое новоприбывшее к нам животное благословлял священник, и на территории зоопарка было два святилища – Ганеши и Ханумана. В общем-то, боги в самый раз для директора зоопарка: один со слоновьей головой, другой и вовсе обезьяна. Но отец в этом усматривал пользу сугубо материальную, не имевшую никакого отношения к спасению души, а именно – еще один способ привлечь посетителей. Волнения духовного свойства были ему чужды: его снедали тревоги иного рода – денежного. «Одна эпидемия в зоопарке, – приговаривал он, – и что нам останется? Разве что податься в каменотесы». Матушка же на все вопросы о вере просто отмалчивалась: ей это было скучно. Индуистское воспитание и баптистское образование перечеркнули друг друга в этом отношении, превратив ее в безмятежную безбожницу. Кажется, за мной она подозревала иной взгляд на вещи, но ни словом не возражала, когда в детстве я поглощал комиксы с переложениями «Рамаяны» и «Махабхараты», иллюстрированные Библии для детей и прочие повести о богах. Матушка и сама читала запоем. Ей приятно было видеть, что я сижу уткнувшись носом в книгу, – а уж какая это книга, было неважно, лишь бы не гадкая. Что же до Рави… ну, если бы Господь Кришна лучше владел крикетной битой, чем флейтой, если бы Христос явился ему воочию судьей на поле, а пророк Мухаммед, да пребудет с ним мир, хоть самую малость разбирался в подаче мячей, то, может статься, у брата моего и отверзлось бы духовное око – а так он продолжал дрыхнуть в свое удовольствие.

Неловкое молчание, повисшее после всех положенных «здравствуйте» и «добрый день», нарушил священник. С гордостью в голосе он промолвил:

– Ваш мальчик – примерный христианин. Надеюсь, вскоре он начнет петь в нашем хоре.

Родители, пандит и имам уставились на него удивленно.

– Вы, должно быть, ошиблись. Писин – примерный мусульманин. Он не пропускает ни одной пятничной молитвы, да и в изучении Священного Корана продвигается превосходно, – так сказал имам.

Родители, священник и пандит уставились на него недоверчиво.

Тут вмешался пандит:

– Оба вы ошибаетесь. Он – примерный индуист. Я часто вижу его в храме – он приходит для даршана и совершает пуджу.

Родители, имам и священник уставились на него в полном изумлении.

– Нет, никакой ошибки! – возразил священник. – Я этого мальчика знаю лично. Это Писин Молитор Патель. И он – христианин.

– Я тоже его знаю и могу вас заверить: он – мусульманин! – заявил имам.

– Чепуха! – воскликнул пандит. – Писин родился индуистом, живет как индуист и умрет индуистом!

Три волхва уставились друг на друга с напряженной опаской.

«Господи, отврати от меня их взоры», – взмолился я про себя.

Все взоры разом обратились на меня.

– Писин, как же так? – требовательно вопросил имам. – Индуисты и христиане – идолопоклонники! Многобожники!

– А мусульмане – многоженцы, – не остался в долгу пандит.

Священник глянул на них искоса.

– Писин, – прошептал он, обращаясь ко мне одному, – ты что, забыл? Спасение – только во Христе!

– Вздор! – перебил его пандит. – Христиане ничего не смыслят в религии!

– Верно, – подтвердил имам. – Они сбились с пути Господня давным-давно.

– А где в вашей религии Господь? – огрызнулся священник. – Ваш Аллах даже ни единого чуда вам не явил! Что это за религия такая – без чудес?

– А что это у вас за цирк такой с мертвецами, которые из гробов скачут? Для нас, мусульман, главное чудо – вот оно: чудо бытия как оно есть! Птицы летают в поднебесье, дождь проливается в свое время, урожай зреет на полях. Каких еще чудес нам желать?

– Перышки и дождички – это, конечно, очень мило, но мы желаем знать, что Бог воистину с нами.

– Ой ли? А что вы сделали, когда Бог и вправду был с вами? Попытались убить его! Приколотили гвоздищами к кресту! Да уж, достойно встретили пророка, ничего не скажешь! Пророк Мухаммед, да пребудет с ним мир, как-то обошелся безо всей этой неприличной чепухи. Принес нам слово Божье и прожил почтенную жизнь. И упокоился в преклонном возрасте.

– Слово Божье?! Этот ваш безграмотный купец?! Тоже мне божественное откровение посреди пустыни! Да на него просто падучая нашла от верблюжьей качки! Или мозги напекло!

– Пророк, да пребудет с ним мир, нашел бы, чем вам ответить, будь он жив, – сощурил глаза имам.

– Да только помер он, вот незадача! Христос-то жив, а ваш старый «да пребудет с ним мир» – помер, помер, помер!

Но тут вмешался пандит, тихо промолвив по-тамильски:

– Не в этом дело. Вопрос в том, почему Писин связался с этими чужеземными религиями.

У имама и священника чуть глаза не выскочили из орбит. Оба были тамилами.

– Бог един для всех! – выпалил священник.

Имам решительно кивнул, переходя на сторону недавнего соперника:

– Есть только один Бог.

– Вот только мусульмане с этим своим единым Богом вечно бунтуют да смутьянят. Ясно как день, что ислам никуда не годится. Мусульманам невдомек, что такое настоящая культура! – провозгласил пандит.

– Что же, настоящая культура должна делить людей на касты? На рабов и господ? – пропыхтел имам. – Индуисты держат народ в рабстве и поклоняются разряженным куклам!

– И золотому тельцу, – подхватил священник. – Ползают на коленях перед коровами!

– А христиане ползают на коленях перед белым человеком! Прихвостни чужеземного бога! Да любому настоящему индийцу на них смотреть тошно!

– Точно, а еще свиней едят. И вообще, людоеды, – добавил имам, чтобы все было по-честному.

– Вопрос в том, – проговорил священник с холодной яростью, – что нужно Писину: настоящая религия или мифы из книжек с картинками?

– Боги – или идолы? – в тон ему торжественно вопросил имам.

– Наши боги – или боги поработителей? – прошипел пандит.

Раскраснелись все трое – трудно было сказать, кто сильнее. «Того и гляди передерутся», – мелькнуло у меня в голове.

Но тут отец примирительно простер к ним руки.

– Господа, господа, прошу вас! – вмешался он. – Позвольте вам напомнить, что в нашей стране признана свобода вероисповедания.

Три лица, багровые от злости, обратились к нему.

– Вот именно! Вероисповедания – одного! – возопили три волхва в один голос, и каждый наставительно воздел указующий перст, будто пресекая все возможные возражения жирным восклицательным знаком.

Но это невольное единодушие – что в возгласе, что в жестах – только подлило масла в огонь. Руки тотчас опустились, и каждый служитель веры запричитал и завздыхал уже на свой лад. Отец и мать только смотрели на них, не зная, что и сказать.

Наконец к пандиту вернулся дар связной речи.

– Господин Патель! Набожность Писина достойна всякого восхищения. Всегда отрадно видеть юношу, столь страстно преданного Богу, а в наше беспокойное время – особенно. И все мы с этим согласны. – Имам и священник кивнули. – Но он не может быть индуистом, христианином и мусульманином одновременно. Это невозможно. Он должен выбрать что-то одно.

– Не вижу в этом ничего ужасного, но, полагаю, вы правы, – сказал отец.

Волхвы что-то пробормотали в знак согласия и вслед за отцом возвели очи к небесам, откуда, видимо, должно было снизойти решение. Только матушка смотрела на меня.

Тишина тяжко навалилась мне на плечи.

– Гм… ну, Писин? – поторопила меня матушка. – Что ответишь?

– Бапу Ганди сказал: «Все религии истинны». Я просто хочу любить Господа, – выпалил я и, покраснев, потупился.

Смущение мое передалось остальным. Никто не вымолвил ни слова. А мы, надо сказать, стояли неподалеку от статуи Ганди, изображавшей Махатму на прогулке – с тростью в руке, с усмешкой на губах и озорным прищуром. Хочется верить, что он слышал наш разговор, но куда внимательней прислушивался к тому, что творилось в моем сердце.

Отец кашлянул и проговорил вполголоса:

– По-моему, именно это мы все и стараемся делать – любить Господа.

Я чудом не захихикал. Услышать такое от человека, который на моей памяти ни разу не переступил порог храма с подобающими намерениями! Но, как ни смешно, это сработало. В самом деле, нельзя же упрекать мальчика за стремление любить Бога! Натянуто улыбаясь, три волхва отступили и двинулись дальше по своим делам.

Отец смерил меня долгим взглядом, будто хотел что-то сказать, но так и не собрался.

– Кому мороженого? – спросил он и, не дождавшись ответа, поспешил к ближайшему лотку.

Матушка смотрела на меня дольше – взглядом, полным нежного недоумения.

Вот так я и приобщился к межрелигиозному диалогу. Отец купил три порции мороженого в вафельных стаканчиках, и мы съели его на ходу, продолжая воскресную прогулку в необычном для нас молчании.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Биби, Уильям (1872–1962) – американский исследователь-натуралист.

2

Piscine (фр.) – бассейн.

3

Игра слов – фр. piscine (бассейн) и англ. pissing (писающий).

4

Тар – пустыня в Индии и Пакистане.

5

Керала – штат на юге Индии.

6

Имеется в виду 3-я индо-пакистанская война.

7

Мадураи – город в штате Тамилнад, на юге Индии.

8

Хайрлес (Hairless) – по-английски «лысый».

Купить: https://tellnovel.com/ru/yann-martel/zhizn-pi-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить